

## К югу от Тореза. Донбасс. 26 августа 2014

Смущение. Двусмысленность. Остаётся лишь жалеть. Срамота...

В палатке — нестерпимо. Вовсю распалось обычное для послеполуденной степи удушающее безумство. Сквозь брезент жжёт огненным драконьим дыханием.

— Оксан, у нас ещё есть крем “Траумель”? Я искал, но, видимо, не там. Мне — не прямо уж сию минуту... но надо найти.

Оксана посмеивается смело, если не нагловато, словно уже имеет на Ольховóго определённые права. Показывает полностью зубы, крупные, с желтизной у дёсен. Отирая рукавом халата лоб, подносит ему лоток со скальпелями, захватами и заготовленными тампонами.

— Ще е небагато. Ввэчери витдам... Вам зáраз трэба допомога, Мыкола Богдановыч? Або сами впóраетэся?

— Сам управлюсь. Ты б, Оксан, приготовила мне иголку. Вот это — срочно. Скоро шить буду. — На неё Ольховой старается не смотреть, притворствует: дескать, полностью сосредоточен на ключице пацана, лежащего

на операционном, самодельном столе. Притворствует: ничего такого там нет, чтобы концентрироваться на ране.

Пацан, обозлённый, плюётся матом, но не на врача, а на того, кто полчаса назад раскалённой острой мерзостью пропорол ему над ключицей. Пуля, вероятно, вошла уже ослабевшей в лямку бронежилета, снайпер был издалека. Чуть затронула кость, но даже не сломала, и осталась в жгуте мышцы. Выковырять такую для полевого хирурга — как свинуть. На десять минут дел-то, вместе с дезинфекцией и зашивкой разреза.

Ольховой промазывает йодом всё плечо у подбитого перед тем, как резать:

— Делать обезболивающее или потерпишь?

В присутствии Оксаны-милашки, которую открыто хочет половина харьковского батальона (с плотоядным придыхом называя её Манионей), сегодняшний пацан, храбрясь, решает обложить и анестезию.

И хорошо, что отказался; новокаин и лидокайн заканчиваются, осталось совсем немного — лишь для самых трудных проникновений.

Кроме Оксаны к батальону прибились и другие женщины — настаивают борщи, режут сало неровными ломтями, кладя его на огурец и всё вместе на квадрат плохо пропечённого хлеба сланцево-серого оттенка. Но лишь на двоих из десятка прифронтовых муз точат зубы воины. Прежде всего, на свою равную и всегда заливающуюся смехом медсестричку, у которой даже широкий халат еле застёгивается на груди. Лезут к ней по-всякому, несмотря на её пристрастие к высмеиванию любого, пытающегося очаровать прокуренным шахтёрским шармом. Льнут и к давним-давно уехавшей в эту степь от сумгaitской резни, широкобёдной, уже немолодой, но всё ещё завлекающей своей восточной сладостью, не переборчивой в вечерних симптиках Тамаре Левоновне — у неё сын воюет южнее, за Раздельным, там линия обороны изменяется каждые три часа, ехать туда — самоубийство, поэтому она ждёт сына здесь, вариет в пятивёдерном казане для всех острый суп из овечьих потрохов и обрезов гузки.

Когда-то тут были ещё две, почти профессионально умелые, искали спроса. Одна приехала из Черновцов, бессарабка. Звали её не то Стеллой, не то Астрий; ну, то есть, как-то не по-людски. Вторая была с востока, со станции Лубны, уже никто и не помнит её имени. Приехавшие жрицы любви, не найдя лучшей карьеры в мегаполисах, решили здесь, в скоплении оторванных от семейных радостей и забывших домашние запахи мужей хотя бы как-то заработать. И просили-то недорого. Но желающих платить им за ночь оказалось немного, всего лишь несколько, из иноземцев, не только давно, но и далеко оторвавшихся от своих домов.

\* \* \*

Подраненного пацана сегодня принесло из разведкоманды. За ним, насколько помнит врач, закрепился какой-то модный, научно-технический по-зывной — Дивайс. Ещё про него рассказывают, что родом он из соседних мест — из Артёмовска как будто или Часова Яра. До войны слесарил на автосервисе в районном посёлке и портил поселковых девок. А сейчас оказался незаменимым в пластунском ползанье и прожигании куммулятивными гранатами передовой брони нацгвардии (или нациков, нацистов, как по-разному их тут называют). И ещё его ценят за то, что умеет ремонтировать: сам, с пятаком подсобников только на прошлой неделе наладил ход им же подбитой БРДМ днепропетровского десанта.

На вид Дивайсу не больше восемнадцати, но заматерелость его и наши-тые ромбики на нагрудном кармане — по числу спалённых машин — говорят об обманчивости курносого детского лица и торчащего пшеничного кло-ка на лбу.

Николай Ольховой старается не смотреть на ассистентку. Стыдится вчерашнего.

Как он ни противился все предыдущие дни, перетекающие в недели и месяцы, её зовущему аромату, манку ещё молодого, небольшого, истекаю-

щего желанием тела, как ни старался думать о доме, где осталась отчаянно любимая Ильсия, природное в нём всё-таки задавило оставшееся здравомыслие. Он ведь даже стал забывать, какая она, женщина, в прикосновении. Без малого три месяца здесь, в одичавшем донецком раздолье, сделали из него если и не животинку, не представляющую, что такое порядочность, то уж, наверняка не моралиста.

К тому же позавчера-вчера вылакали из хирурга весь запас крепости — на отладку к нему направляли и направляли; он даже запутался в счёте, сколько ранений пропустил через себя. Двадцать шесть? Или сорок шесть? Пришлось и констатировать убыль двоих, которых незачем везли, надеясь на чудо. Одного, из гражданских, дежуривших 24-го числа на ближайшем к Торезу блоке трассы, бритого под ноль пузыря, равного в диаметре что по высоте, что в ширину, убило, по-видимому, ещё там, на месте; раздробило позвоночник. Другому, слишком горбоносому для того, чтобы сойти за местного, в чёрных кудряшках густых волос на голове и спине, осколок от мины, выпущенный отступающими с высоты 277,9 или Саур-Могилы нацгвардейцами попал в печень, разорвав всё в крошево.

В починке остальных, лишь слегка подпорченных, Николай измотался так, что даже не смог озлиться, когда, в который раз, прибежал Ефрем Васильевич Колzin, хорошо упитанный, возрастной зануда из арьергардного взвода охранения — то у него палец в кровь прищемило тутым предохранителем автомата, то просил посмотреть, как стопа распухла от пореза о неведомо где торчавший гвоздь. Вчера же заявился с требованием удалить ему занозу, значительно ниже пупа, которую он схватил от дощатой стенки походного душа, при помывке.

— Я бы и сам её выковырял, — привязался Ефрем Васильевич, — но уж место больно, того, интимное. Боюсь, как бы не повредить там себе. Так ты, Айболит, уж постараися. Аккуратненько.

Николай даже не посмотрел на место, в которое тыкал несуразный ополченец.

— Ну, раз аккуратненько, да чтобы не задеть ничего, то буду доставать тебе эту занозу согласно протокола ректального вмешательства.

— Как, говоришь? — не сообразил Колzin, о чём речь.

— Через заднепроходное отверстие! — отвернулся от него хирург, готовясь вырезать по осколку стали из подлокотья и бедра недавно принесённого ему лёгкого солдатика, уже лежащего на операционном столе со спущенными спортивными шароварами, сцепившего зубы, чтобы не стонать при Оксане...

И ближе к ночи нывшее тело и мозг потребовали у Николая отдыха. Он не чувствовал уже своим ни то, ни другое. Живот, и так с отрочества втянутый, ещё больше ввалился. По рукам с длинными тонкими пальцами фортепианного солиста вспухли бечёвки артерий.

Помни некогда полученный в ростовском окружном госпитале урок, когда раненых и умирающих везли из чеченского форшмака каждый день, он не стал глотать капсулу-энергетик, не стал бодяжить “коктейль дальnobойщика” — растворимый кофе в разогретой пепси, — а залил в глотку из мерной колбы семьдесят граммов спирта, который пока ещё был в операционной. От загнанности за прошедший день еда в него уже не лезла, поэтому сразу же сплющило, и он поплыл расплавленным воском. Но желаемое облегчение всё же пришло...

В такой полужидкой консистенции его и нашла кроха Оксана. Он не очень-то и помнил, как там оно всё начиналось, что он говорил, что она ему, просто заметил, что уже какое-то время держит в ладони её податливую правую грудь, и тычется губами в её губы. Оксана не только не противилась, но и тянула на себя. И вонючих скинула лямки своего комбинезона...

Ну, а потом всё происходило так, как это только и может происходить в колючих пыльных зарослях за медицинской палаткой, под малярийно-белой луной — неудобно, суетливо, без радости, лишь на поводу у инстинкта.

А теперь Ольховой отворачивается от медсестрички, не умея прямо посмотреть ей в смеющиеся глаза. Играет повышенным вниманием к подраненному Дивайсу.

Узнал об Оксане много, от неё же. Болтлива оказалась... Она здесь управлялась за всю медицину ещё до его приезда. Кое-как, со средним образованием фельдшерицы, перевязывала дырки от пуль и осколков на разных частях тел бойцов Отпора, если дырки были мало значительными для областной и даже торезовской больницы; мазала ожоги, меняла повязки у продырявленных, следила, как идёт заживление. Отпаивала валокордином-диазепамом местных бабулек и нескольких оставшихся дедулек, которым уезжать было некуда и не на что — сердечные приступы теперь случались чаще, по мере ужесточения обстрелов жилья с высот, захваченных армией и сбродом “гвардейцев”.

Приехала сюда в начале апреля, с запада, из житомирского захолустья, как только там бандеры стали врываться в городские и районные управы, унижать милицию и православных батюшек. Боялась и за дочь, и за себя — муж был на плотницких работах в Перми, и все в её райцентре знали, что он этим обстоятельством доволен. Но самым опасным было то, что многие знали и о её деде Лукьянне. Того, никакого не НКВДёнка, а сопливого младшего сержанта, радиста, в середине пятидесятых годов в составе неполного стрелкового полка послали бить бандер УПА по карпатским склонам Франковщины. Теперь бы ей деда припомнили, как припоминали всем “зрадникам”, предателям в их понимании, и ближней родне зрадника. Убить, возможно, и не убили бы, но поизмывались бы от души.

Оксана заперла на все три замка свою квартирку в панельной хрущобе и с дочкой поехала на восток — в Донецке жила одинокая мачеха мужа.

— А чого то вы, Мицко Богдановычу, били на росийський мови говорыты? — спрашивала она в начале лета у Ольхового, ставшего из-за приступ судьбы её непосредственным начальником. — Вы ж українську знайетэ.

— Знаю. Алэ цэ в мэн звычка, мабуть. — Николай сдержанно разглядывал малую, но полномасную, русую дриаду, не в силах задержаться взглядом на бутылочном стекле её глаз. Она с самого же начала стала выказывать присланному хирургу свою недвусмысленную заинтересованность, что Ольхового и смущало, и злило... — Привык, — повторил он. — Я ж большую часть жизни в России прожил. Все знакомые, и по службе, и по жизни говорили по-русски, жена тоже, недоросль мой — соответственно.

— А скильки вашому хлопчику? — Оксана упорно крутилась, не боясь порезаться, перед самым его носом, таким же тонким и острым, как хирургический ланцет, плескавшийся в кипящем стерилизационном судке в углу палатки.

— Уже четырнадцать минуло.

— А майй донъци — тильки шість, — непонятно почему взгрустнула тогда, вздыхая. — В вас жинка руська?

— Нет, не русская. Башкирка... А это имеет для тебя значение?

— Та ни,ничого. То я так... Мэни нация — однаково...

Николай, ещё тогда же как-то не очень удачно попробовал шутить:

— Я смотрю, тут у вас одни лишь Оксаны. Девять на десять девочек. Помощница заходилась тихим смехом, больше похожим на хлюпание.

— Дуже тонке наблюденье.

Ольховой тоже слегка подцеплял в ответ:

— Не “наблюденье”, а “спостэрэджэння”... Боже ж ты мой, на каком вы все языке говорите! Это ж не украинский, это гоголь-моголь. Я-то думал, что хоть у “западников” язык сохранился... Нет, везде — только суржик. У украинцев центра и востока — украинско-русский. У вуйкóв (и галичан, и волынян) — украинско-польский. В Закарпатье — русско-венгерско-украинский, на Буковине — украинско-румынский... — он любопытствуяще разглядывал тогда её форму, затаёни вымеривая взглядом ложбину между двумя надутыми полушариями, выпиравшими из ворота низко застёгнутого, не совсем чистого медицинского халата.

Сдобную плюшку Оксану ни тогда, ни позже не заинтересовывали филологические семинары: “Ну, як говóримо, так ѹ говóримо”.

После этого и выстелила понемногу за последующие месяцы Николаю всю свою предыдущую жизнь. Тот же помалкивал, в ответ не спешил де-

литься. Собственно, и условия этому не способствовали — резали и шили без остановки; в первые два месяца большой донецкой войны раненых подвозили для хирургии сутками, перепадало и сельским, особенно старикам. Потом постепенно поток стал мелеть: многих стариков или поубивали снаряды из-за полей, или их всё-таки кто-то вывез отсюда, а бойцы просто учились воевать, не пёрли больше в ура-штурм, рассредотачивались, расползались по степи вы涌现出ими рептилиями, смотрели по сторонам, хоронились при артобстреле.

\* \* \*

Сегодня, что необычно, кроме Дивайса пациентов нет. Так что остаётся время разобраться в не таком уж обширном лекарственном кофре, написать через телефон торопливую весть Ильсие, спросить о сыне, об их поездке в выходные за город, и отчитаться, как всегда вскользь: “У меня без изменений, самоощущение — в норме, погода тоже нормальная...” Писать это в качестве как бы поспешного, подразумеваемого извинения за вчерашнюю вольность. Словно оправдываясь перед собой.

Он и берётся нащёлкивать текст, но в палатку уже протиснулась обезьяня рожа Шлыка.

— Богданыч, тебя Голова зовёт. Если только ты не занят. Казав зайти, як время будет. Не горит. — Помолчав, показывая, что распоряжение передал, добавляет, почёсывая за ухом тыльной стороной короткой финки: — Всё хотел узнать у тебя, Богданыч: а ты сам живого пиндося видал? Ну, хоч колы-нэбудь...

Николай недовольно откладывает телефон.

— Нет, с американцами ещё не встречался, хотя кого только не видел!.. А тебе-то какой бубновый интерес к ним?

— Та хлопци тут взялы одного. Из тербатальона “Збруч”. — В отличие от правительства, которое понимало “тербатальон” или, проще, “тербат” как “территориальный”, а значит — сформированный на определённой территории Украины и оплачиваемый частно, одним из влиятельных “патриотов”, в ополчении Отпора расшифровывают “тер” как “террористский”.

Шлык всё ещё опасно расчёсывает себе кожу у шеи:

— Взялы вояжу тыхо, рта йому завязалы. А як прынэслы сюды, развязалы... — а не русъкий. И не укроп. Непонятно, кто такой. Думаем, шо пиндо...

— Так меня из-за него Голова зовёт?

— Ни-и, цэ я так. Шоб ориентироваться... Ты ж у нас кадровый... У кого ж ще спытать? — Шлык из деликатности шмыгает только одной ноздрей.

Николай так и не знает: Шлык — боевой псевдоним, как у всех тут за редким исключением, или фамилия. Боец отвязный, всегда лезет в самый ад, нациков готов давить руками (его инвалидного брата те погубили при взятии Краматорска, до кучи, не выделяя, когда саданули очередью по небольшому сходу горожан, выкрикивавшему им “позор!”). Знаменит тем, что ущен в мордобое, несмотря на миниатюрность. Брюнетик, загорелый, на цыгана похож. Высшая классность для него — не выстрелить в нацвардейца или тербатовца, а всадить ему под скулу десантный кортик или ту же сегодняшнюю финку. Видимымсложнением после постоянных прямых соприкосновений с противником у Шлыка стало отсутствие передних зубов, что сверху, что снизу. Он этого не думает стыдиться, наоборот — дерёт горло на всех постоянно и сплёвывает через прореху. Жевать, правда, неудобно, но ничего, приспособится ещё. Молодой...

И что это Голове от хирургии могло понадобиться?

У батальонного не было времени на зелёнки-пёлёнки, воевать приходилось много и по колено в останках — своих и чужих. Проваливался западный фланг, там без передыху нацики и армейская артиллерия засыпали из “ноны” 120-миллиметровыми снарядами-минами, которые в полёте выли низким бабым воем. На левой стороне шоссе охраняемого участка не осталось

лось ни одной целой хаты. Потери бойцов были предельными; день ото дня мортиролог прирастал именами и именами. Соседи утрамбовали, казалось бы, предыдущий артдивизион врагов, но у правительства находились все новые дивизионы, и карусель крови не останавливалась.

\* \* \*

Николай, как уже привык, поднимает из-под хирургического стола автомат, не ходит никуда здесь без него — никому не известно, когда может понадобиться, — и, разминая шею, врачающей головой, выбредает на поиски батальонного.

Патрульные на шоссе спокойно, будто с детства только и делали, что осматривали автомобили, осматривают облупленную “Ниву”, давно подлежащую утилизационному прессу и двигающуюся лишь на мольбе ездока. Водитель, апатичный брохан, которого, наверняка, сегодня стопарили через каждые три версты, безропотно показывает ополченским мальчикам все скрытые полости машины. Мальчики похожи на школьников, прогуливающих урок словесности, по непонятной моде этого свирепого времени они одеты в бронированный камуфляж, с укороченными полицейскими калашниками по диагонали груди.

“Гляди ж ты, уже умеют! И когда только обучились? — Ольховой ищет комбата, рассеянным зрением захватив блокпост. Двое шарят в машине, третий — сзади, контролирует водилу... Да, научишься, когда столько их сверстников тут положили двери, диверсанты из тербатальонов, переодетые в станичные обноски”.

Он лишь на прошлой жестокой неделе закрывал глаза одному такому, прогульщику уроков. Совсем был тот ещё по-детски нескладным, сделанным из одних лишь рёбер; удрал из дома, из мирного тыла в центре Украины, чтобы здесь, в терриконовой шахтёрской степи начать очищать, в том числе и свой тыловой пригород, от рунических, совершенно не украинских символов, фигур на эмблемах и знамёнах майданов-тербатов...

Но батальонного нигде нет. И у двух музейных гаубиц, экспонатов, которые пригнали для их забытого предназначения из городского парка Славы, ныне стоящих в тенях тополей вдоль обочины, никто не знает, где комбат.

\* \* \*

Находит Ольховой его в известной шоферам-дальномерам, по довоенно му времени столовке при трассе, только что наспех приспособленной под подобие летучего штаба и склада трофейных снарядов (для отбитых у нацистов же условно современных самоходных артустановок и стационарных ми номётов).

Командир батальона, собранного в мае в Харцызске, с фамилией Довгáло, подглуховатостью и запоминающейся привычкой неприятно громко щёлкать в размыщлении пружинным устройством шариковой ручки. Единственный в этом крыле движения Отпора старше Ольхового годами.

— Здоров був, Айболыт, — машет Николаю из дальнего угла столовки склада. Пьёт тархун из зелёного пластика, недовольно кривясь: газировка теплая и оттого гадкая — холодильник стоит отключенным, электрокабель вдоль шоссе перебило прилетевшей “нонай” уже больше двух дней назад.

— Здоров, Сэмэн Даныловыч! Да не Айболит я, сколько повторять!.. Он, как известно, по ветеринарному списку проходил. А я-то больше на людях упражняюсь, — хирург пожимает гибкую руку комбата.

Довгало, бородатый, взъерошенный, с рано поседевшими вихрами, компактный, но выносливый, чугунный, как зверь-броненосец, усаживается в стоящее в углу кресло, отвинченное с водительского места автобуса. Предлагает глазами и Николаю присесть в похожее, валяющееся у входа. В помещении ходят рядовые, уже непризывающего возраста, таская с улицы ящики,

набитые патронами любой маркировки и размера и ещё с завода закуclidean в промасленную обёртку заряды для ручных гранатомётов.

— Ну, як в тэбэ справы? — Комбат прикрывает ладонью зевок.

— Какие ж у меня дела? Сегодня — вообще, считай, без работы. Только одному и помог. Пульку вытащил и на память отдал. — Ольховой кладёт на пол пока не пригодившийся с утра калашников. — Может, пойти мне с вами, Данилыч, с хлонцами? Повоевать малёк, кости размять, бандер, ляхов-найманцев да разных прочих шведов подуть. А то я так вообще стрелять разучусь...

— Повоюешь ще, никуды те швэды от тебя не убегут, их тут прыехало — на повну роту. — Довгalo, как ставя точку в конце каждой фразы, зевает от недосыпа. — Почуваю, шо биться нам с хунтой ще долго, сука. Так долго, пока бильшишь людэй нэ зрозумие, шо там сидят вориоги и запрёданци, холуи подпиндосские, под которыми нам николы не быть, сука. Цэ не на месяцы дело... — вздыхает. — Так шо постреляешь ще.

Николай стягивает с себя куртку и вытирает ею бока — накал уходящего лета впивается в тело, в стены, в бетон цоколя, в сгоревшую до паркетного оттенка траву у крыльца.

— Ну, а вообще как у нас обстоит? Что нового? А то я кроме бинтов ничего не вижу. Совершенно выпал из контекста.

Комбат допил тархун и завидным броском зашивывает пустую бутылку в далеко стоящий ящик с отходами и обрывками бумажного мусора.

— Та що нового? Багато чого нового, — подзадумался. — Из поганого вот шо: вчора ще четверых потеряли, сука. Особльво жаль Генгэму, то биш Галыночку Хмару, на захвате работала в звене Скомороха. Донечанка коренная, мастер боевого самбо, красуня... Эх, даже не рожала ще... А скольких вуйкоў на той світ наладила!.. — Довгalo неизвестно кому грозит пудовым кулаком. — Ще грека наш, Костаницы, тож коренный, азовський. Вёрткий був, як гюрза. А от, вбылы... Пóтим ще Стёпа Поспелов. Тож боевой був. Козак! — Комбат по-украински выделяет “о” в слове. — Прыийхав до нас з Астрахани. Ще з самого начала тут... И, четвэртый, останний, áнтал Надь. Памъятаешь такого? Мадяр. Ну, усатый, как из “Песняров”... Наш человек, хоч и латынянин по вере. Чёткий був наводчик. — Довгalo горько пыхтит. — Полегли браты за курган Савур. Но зато курган мы отбили. Самый высокий тут. И трёх недель хунта его не удержала! — Победно усмехается. — Ну, шо ще з поганого?.. Націки разбили артиллерией усю вулыцю Зубкова у Харцызськи. А ведь у городе наших бийців николы й нэ було. И націки нэ мόжуть про цэ нэ знаты. Трощат дома, сука, шоб у наших хлонцев голова болела за родных, оставшихся на вулице, а не за продовжэння отпору... — Снова возносится лита рука. — Тут девчата з села глядилы телек, так там хунтовський канал “Одын плюс одын” передав, сука, шо то мы сами растрóшили город. Чуешь? Мы сами! Ну, нормально? Когда у меня в батальоне, почитай, половина з Харцызська... А наци ще одну церкву соожгли дотла — храм Ивана Кронштадтського...

Довгalo щёлкает кнопкой шариковой ручки, высовывая и засовывая обратно стержень.

— Есть присказка така, деткам кáжуть: не ешь с ножа — злым вырастешь... Так, видать, ту хунту с топора, сука, кормили.

Ольховой вытягивает ноги по полу, полулёжа в своём автобусном кресле.

— Ну, а что хорошего?

Комбат, наигравшись с ручкой, прячет её во внутренний карман камуфляжа, подальше, чтобы не сломать щёлкающую часть — ещё понадобится.

— Гарного тож немало. Драп націков. Со всего восточного Донбасса. Наши пошли на Мариуполь, отвоевывать. Націки обосрались с переляку, драпают так, шо тильки пыль по дороге, сука. Соседний наш батальон “Исток” обзавёлся новыми тремя, чуток подналёнными танками — подарок от вуйкоў. Те бросают усё, шо не могут увезти. С утра мы перебили у них батарею “Мста-Эс”. Так шо металлом для мартенов прибывает. — Довгalo медитирует недолго и, превозмогая сон, мямлит под нос: — Тебе б, конечно, Айболйт, надо бы в город перебираться, в больницу. Там хоч какое ни

есть оборудование, медикамент. Но, по нашим соображеньям, та больница у нациков пристреляна. Неровён час... А тут твоя палатка ничем не приметна. Так шо звыняйте, придёться пока тут.

Николай вспоминает о Шлыке:

— Да, Данильч, мне тут твой разбойник сказал, что ты хотел что-то от меня. Что хотел-то?

Довгало потягивается у себя в углу, с усилием протирает глаза, чтобы сокрести густую, как клейстер, дрёму.

— Правыльно вин тоби сказав. Хотел... — Достаёт из кармана мобильный телефон, собираясь звонить или ожидая звонка. — Мои у Кутейникову взяли двух нацистив, з тербатальону. Сейчас везуть сюды. Когда доберутся — Бог знае. На дорогах-то неспокийно... У одного з нацев, старшого, ногу страшно порвало, даже ступать не може. Так ты готовься его брать к себе. Надо, шоб с ногой остался. Важныи овощ. Продезинфиируй или ёшь шо... Ну, шоб гангрены, там, не завелось, или... не знаю.

— Посмотрю, Семён Данильч. За мной не встанет. Это ж моя специализация: микрофлора мышечных ран, раздробленные коленные чашечки, раневые инфекции, переломы шейки бедренной кости. Особенно люблю сдвиг межпозвонковых дисков и иные прелестные вещи, — удовлетворяется Ольховой, узнав, зачем был нужен комбату.

— А ты, видать, сьогодни в гарном настрое, — отпускает его, наконец, Довгало. — Вообще-то, не в моих прынципах из тербатальонов у плен брать. Это тебе не армейцы и даже не нацгвардия, люди подневольные, бильшисть которых насильно призыва, особенно солдатство... Ни-и, в тербатах — тильки инициативники. Или просто за бабки, и большие, или ще к тому ж и идеины нацисты, для которых мы усе — и российские, и украинини, шо хотят оставаться з Россиею, — усе колорады, вата, ватники... Они нас в плен не беруть, катують, казнят. И я их не беру. Як правило... Но эти двое, шо до нас зараз везуть, нужны. Здороно нужны. Так шо ты, Айболыт, почини мне раненого. Шоб до ампутации ноги, сука, не дошло...

### Червона Слобода у Черкасс. 19 мая 2014

Не хотела Светка спокойно сидеть на колене Боряньева. Ну, вот не хотела, и всё! Крутилась, пыталась соскользнуть на пол, убежать. Не понимала, отчего папка так крепко обнимает её, гладит ей всё время волосы и це-лует в затылок. Ей хотелось на проулок, побегать с Гарпушей из соседского двора, попрятаться в лопухах за дровяным сараев, погонять кур с огорода — они так смешно разбегались с кликушеством от брошенной в них ветки, так смешно лопотали...

Но папка не отпускал. Приходилось терпеть в такую жару его горячие руки.

— Ну, шо ж ты всё прыгаешь, скажённа! — мимоходом укоряла её бабушка, накрывая стол на веранде. — Батько прыйхав, а ты даже сэкундочки нэ можешь посыдиты з ным побруч. Ось уйдэ, будешь сумуваты за ным.

— Да не надо грустить по мне, — Боряньев отмахнулся. — Я ж живой. Уеду, приеду, снова уеду, и снова приеду... Ладно, иди, играй.

Нехотя отпустив вертлявшую дочку во двор, посмотрев ей вслед, он повернулся к тёще.

— Стефания Петровна, спасибо вам за Светланку. Если б не вы, я б уже и не знал, как мне ехать. Наверное, и не поехал бы... А так...

Достал из кармана конверты.

— Здесь мои бумаги на вклад в “УкрСвітБанке”, а здесь — полная на вас доверенность, Петровна. На всё, что у меня есть. Не Бог весть что, но всё-таки...

Тёща, казалось, не обращала внимания на его меркантильные заботы, продолжая ставить на клеёнку тарелки с оладьями, только что с огня, чашки, сметану, колбасу, наскоро нарубленный салат.

— Та го́ди, чого там! Бог даст — не помрёмо. В мэнэ пэнсия, яка нэ яка... Хочá, краще не йихав бы ты, Евгэн. Всё ж батько для дивчинки

важнише, ниж бабка... То йийи старший брат уйихав кудысь, тэпэр ты...  
Я вже стара, та й хата моя, на жаль, нэ надийна, хытаетсяя, як я сама.

— Да будет вам, Петровна, — уходил в минор Борятьев. — Не шатаетесь вы! И надёжней человека у меня нет. Тем более, что я подправил тут, что надо. По поводу электрики договорился с Михасём Осыкой, всё ж монёр на подстанции. Завтра придёт, посмотрит проводку, заменит, где требуется. Вы ему гринен сто дайте. Но только после того, как сделает, а не до. А то я его знаю!

— А ты надовго? — исподтишка, боясь напугать судьбу, спросила женщина, отводя вбок выцветшие, мокроватые, старые свои глаза. — Я вжэ нэ спытаю — куды. Можешь нэ говорыть, якщо нэ хочешь.

Борятьев осушил лоб манжетой рубашки. Запекало уже совсем по-летнему. Шерши со шмелями ожили и гужевались в углах навесса над верандой.

— Не знаю, Петровна. Как получится. Может, и надолго. Надо гопоту́ донецкую придавить. И кацапам ненасытным дать в зубы... Но надеюсь, что иенадолго. Вся страна, сами видите, поднялась. Им против всей страны долго не устоять. Да и за нас, фактически, весь мир. Все даже кацапского ду́ха не хотят...

— Та шо тоби ти кацапы! А ты сам, хиба, нэ кацап? — тёща присела на краешек скамьи, напротив Борятьева. — Ты б про доньку подумав. Як вона́ без тэбэ будэ, коли щось з тобою выйдэ? — Подтёрла под глазами каймой слободского наплечного платка.

Он негодующе ронял, как выбрасывал, на пол, под ноги, туда же уйдя взглядом:

— Я украинец, Стефания Петровна. Я здесь родился и вырос. Для меня эта земля — родная. И не надо за речь мне счёт выставлять. Русский — такой же свой для украинца язык, как и украинский! — Говорил с упором, хотя уже и без прежней убеждённости: мол, само собой... — К тому же, не могу я сидеть тут, когда мою страну рвут на тряпки. Крым отжали! Как бандюги, ночью, втихаря. Воспользовались, что у нас долго не было порядка, что армию никто не берёт... Донбасс отымают. А потом пойдёт и пойдёт...

Тёща сплетала костистые и кривые пальцы, перекрученные болезнью и долгим трудом. Вздохнула:

— Та шо, Крым тэбэ нема́ кому йихаты? Ты ж нэ вийськовый... Та и нэ парубок вже!

— Да, вот потому, что я уже не юный! Как я могу тут спать, жрать, а тем временем туда посыпают просто цыплят! Вы ж видели тех призывников! Им даже бронежилет тяжело таскать... Кого посыпают-то? Из бедняков, дистрофиков... Нет, туда должны ехать только такие, как я. Мне уже, слава Богу, в этом году будет сорок четыре. Я пожил. Двух детей после себя оставляю. А они? Ну, те, цыплята... Что они умеют? Что они навоюют? — Евгений неосторожно откинулся на шаткую спинку лавки. — Вот вы говорите, Петровна, что я не военный... Но вы ж знаете, я же старшиной в морской пехоте отслужил, ещё при СССРе. От первого до последнего денька. Кое-что помню, кое-что ещё могу. Не учёный. Глаза видят. Так что я там собою хоть пару наших хлопчиков упасу... — И после затянутой паузы, грузно: — Не-е, решено. Еду. Я и договор уже подписал. У нас тут формируется добровольческий батальон. Под Кременчугом. Один большой человек выделил средства. И все остальные — миром собирают по гривне, канадские поселенцы помогают... У нас там, в батальоне, немало таких собирается, как и я, в зрелости, служили, так что не жалко...

— Ну, дывысь, ты ж батько. Вже дорослый! Тоби ришаты. — Тёща смотрела укором, стряхивая с подола невидимые крошки. — Алэ якщо заги-нешь там, то знай, що донька твоя, та й сын, тоби цього не простять. — И она снова посмотрела на Евгения тем самым взглядом, памятным ещё с позапрошлого сентября, с церковной службы, с тех скомканых поминок.

То был самый невыносимый взгляд, который нёс на себе Борятьев.

Уже больше полутора лет минуло, а взгляд Стефании Петровны его сжи-гал. С того лютого сентября, когда в не принимаемой рассудком катастрофе, на дороге, подлость своевольных узоров судьбины забрала у него сразу трёх

дорогих, любимых. Любимей — только дочь и сын... Хотя... Разве же можно так считать! Все любимые...

Тогда он подболел. Температурил, из носа капало, как из проржавевшего топливного бака, всего тряслось, тридцать девять и три, рвущий горло кашель, ломкое тело, всё тянет в постель. Конец сентября выходил ветреным и ледяным. Но как раз в это время надо было везти родителей в аэропорт Черкассы; им нужно было лететь в Одессу, в санаторий под Калаглией.

Борята мог бы наглотаться тогда пилиоль, ещё чего-нибудь, собраться. Но, признаться, не хотелось выходить в обваливающийся ливень из тёпло-го дома. Можно было бы и такси нанять, да жалко стало денег — зачем тратиться! Езды на двадцать минут, есть же своя "Лада приора", а таксёры, свора гиен, заламывают несусветные цены, когда слышат про аэропорт. Вот и вышло везти жене. Кому же ещё? И кто тогда думал о том, чем всё кончится!

Дорога скользила, ливень издевательски рушил стену воды навстречу, приходилось ехать по реке. И Тося не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу, как потом было написано в протоколе; разделительной линии вообще не просматривалось. Ну, и — встречный многотонный обоз двухприцепного MAN на полной скорости въехал в них на Смелянской, на самом уже подъезде к аэропорту.

Убило всех троих в "Приоре". Жена с папой сразу же были раздавлены — месиво. Папа всегда любил сидеть впереди, рядом с водителем. Вот и посидел... Мама умерла лишь на утро — оказалась в машине за невесткой, которая взяла весь удар на себя — на лицо, на грудь, на сердце...

Тёща и так не очень-то почитала зятя. А за что почитать? Самодурис-тый, властный, совсем придавил тихую и безотказную жену, Тосю, любимую донечку. Огромный, как слон, рядом с такой тендитной Тосечкой. Бесцветные ещё эти его глазищи, как будто белымы... Да ладно бы был гайдой, хо-зяином справным! Так ведь заработки-то — от раза к разу. Вот вроде бы закончил в Харькове уважаемый технический университет, что-то по элек-тронике... Ну, и что с того! Поработал по профессии лишь пару годков. А где, кому в стране последние два десятка лет электронщики требуются?.. И потом пошло-поехало: по закупке стройматериалов, директор зачуханного дома отдыха на Южном Буге, маленький начальник на горнолыжной строй-ке Буковель. В перерывах же между случаями работы лежал дома, как тюк, и только под телевизионных обозревателей страдал, всё переключал кнопки. А Тосечка тянула на себе пятерых, обстиривала, обглаживала, кормила — его самого, сына с маленькой Светланкой, мужниных родителей (ведь вы-нуждена была жить вместе, в их черкасской квартире), — вычищала в блеск всю эту четырёхкомнатную громадность, а ещё и работала пятидневку кад-ровиком шёлкового комбината, бедненькая...

— Простите меня, Стефания Петровна, если сможете. Это из-за ме-ня, — по-новому, чуть ли не заискивающе, воспалившимися глазами смот-рел на тёщу Борята в церкви, когда отпевали сразу троих погибших. — Я во всем виноват. Только я. Не сберёг...

— Та нэ звынувачай сэбэ. Пры чому тут ты, Евгэн, — старуха непо-движно стояла, ненавидящими глазами ударяя в него тогда, впервые прямо в зрачки. Впервые, потому что раньше — только куда-то мимо.

## Западное Предуралье. 10 мая 2014

Не просто суббота, а ещё и праздники. Клиенты — насущные и возмож-ные — съехали на дачи, открывают сезон грёдок и мелкого ремонта по до-му, в городе мало кто остался. Кому сейчас до обустройства контор! Сегодня никому не требуется компания "Функционал-ИМ", комплексное оборудова-ние офисов "под ключ": мебель, оргтехника, оптоволоконная связь, бытовые электроприборы". Сегодня важнее раскупорить после зимней спячки свою дачную халабуду где-нибудь на бережку Белой — широкой и совсем не свет-лой реки Агицель — или в направлении Чишмы, или в противоположный бок, по Челябинскому тракту, собрать прошлогодний бурелом, покопаться

в трубном змеёвнике от “Башводоканала”, просто побездельничать на природе, а то и улететь далеко, к морям и дельфинам.

Дни нежеланной праздности. А раз нет работы — нет и денег. Сиди, лапу соси.

— Так и будешь весь день в окно утыкаться? — за спиной зазвучало меццо-сопрано: Ильсия распевалась с утра. — Совсем потерял интерес к дому, Ольховой? Ты уже не с нами, уже сбежал? А у сына твоего, сачака, между тем, по химии — двойка на двойке. Позанимался бы с ним, чтобы он хоть этот класс закончил без скандала, не как прошлый. Я ничем с химией ему помочь не могу, а ты ж в своей академии изучал, обязан помнить. А, Ольховой? Или гори всё?..

Повернулся, встречая два распахнутых, светло-серых знака вопроса под тонкими, частью выщипанными чёрными бровками.

— Тебе сколько говорить, Иля, чтоб ты меня по фамилии не называла? Не выношу это в семьях. Когда жена так к мужу обращается...

Женщина показательно недовольно дёрнула плечами, фыркнула — так фыркают только что вынырнувшие из воды, — развернулась, ушла в кухню-гостиную — исполнять гаммы посудой в мойке.

Он ощущал себя преотвратительно, но снова самым боковым зрением и самыми задворками сознания отметил безупречность линий её высоко оголённых, немного венозных, но всё так же, как в юности, ошеломляющих ног. И хотя эти ноги наряду с другими сегодня никак не могли быть первостепенны для него, Николай не мог командовать своими желаниями и уменiem замечать.

Удивительно, что с годами не наступало привыкание. Живут бок о бок изо дня в день; пора бы всё-таки. А вот не привыкалось. И её ноги всегда волновали его. Из-за них, выписанных, словно у балерин Дега, он и захватил её когда-то. Захватил, как захватывают осаждённую цитадель — измором.

И ещё захватил из-за её гротескно выпуклой груди.

На этом, в общем-то, и заканчивалось её фортре — сильные стороны. Ну, ещё глаза, вероятно, можно бы добавить: ясные при общей чернявости — всегда эффектно... Но не более того. Лицо грубовато, с неровной кожей, будто поле поздне-мартовское, ещё голое. Не придавали изящества ей и большие мужские руки.

Носила она свой метр восемьдесят гордо и прямо, даже чуть откидывая голову назад. Он, из-за приобретённой за операционным столом сутулости, часто казался даже ниже неё.

В тот день, незадолго до расставания с нечёткими перспективами, Ольховой зачем-то вспоминал, с чего у него всё начиналось с его такой несовершенной, но такой зовущей Сиреной.

Чего вспоминать? Зачем?..

Впервые он влетел в Уфу ещё курсантом, в двадцать один, весной, в год ГКЧП и последующей смерти Союза. Направили на стажировку в гарнизонный госпиталь.

Вобрал в себя этот русско-турецкий город, его едва уловимый флер мечтательности, но одновременно и его же устроенность, устойчивость. Горячие мясные учпачмаки на каждом углу, сок течёт по подбородку. Парки-леса на пол-Уфы... Его, увлечённого самоучку-малевальщика, оглушил художественный музей, без преувеличения, мирового ранга, о котором он никогда даже не слыхал. В столбняке стоял перед незаконченной шедевральностью первой пробы “Видения отроку Варфоломею”, нечаянно прорванной ещё самим Нестеровым, позже с любовью склеенной и зализанной неторопливым реставраторским шпателем.

Его, тогда ещё не искушённого, только что из госпитальной казармы, забрала и игра артистов драмтеатра в арбузовской пьесе “В этом старом милом доме”. Увидел в театральном фойе в антракте одиноко озиравшуюся, тогда ещё девятнадцатилетнюю Илю. И запульсировало, подкатило жаром к голове!

Прилип, начал безответственно врать о себе, пригласил на эконоимленные рубли пообещать-поужинать. Она забоялась отказать настырному солдату с медицинскими петличками, и так, первый раз в жизни, попала в ресторан.

С испуганным интересом разглядывала пожилых и крепко подпityх дядек и тёточка за соседними столами, нервно оправляя свою мини, которая лишь чуть скрывала восхитительные ноги...

Что за ноги!

Их себе она сделала на прыжках в высоту и беге в спортивном обществе "Спартак". Родители, старший брат и вся традиционалистская мусульманская семья очень не одобряли ни её "Спартак", ни прыжки через перекладину, ни её длинные ноги, почти не прикрытые мини-юбочонкой. То ли эти борения, то ли любознательность, то ли ещё какие позывы притянули Ильсии в одну из церквей под Уфой (в самом городе она бы поостереглась — а вдруг заметят!). Потом съездила ещё раз и ещё. Стала заговаривать с церковными женщинами, отстаивала службы в платочке, прикрыв колени метром бязи на булавках, слушая многогласные хоры Рахманинова, читала тайком то, что ей давала старшая из женщин. И как-то незаметно, не вдруг, приняла христианство.

Когда скрывать православие уже не хотелось, пошла в раскол со старшим в роду и даже с братом. Только мать тихо всхлипывала, возясь со стёжкой одеял на женской половине дома:

— Ай, дочка, дочка! Что ж ты наделала! В прошлые времена тебя бы наши мужчины сами должны были бы задушить ремнём... У нас так было. Двойородная бабка твоя, Катиб-ханум... Тоже к крестовикам хотела уйти.

Приговор семьи и отказ всех от Ильсии пришли неизбежно, как дождевые потоки после недели летней духоты. Но это всё случилось, уже когда Ольховой давно уехал.

Семь лет он называл Ильсие:

— Привет, злюка! Как ты?

Виделись при его отрывах в Уфу на пару дней, в отпуск. Никакого интереса длинноногой к себе Николай не находил. Она всё время старалась от него отгородиться, воздвигая стену своим иссушающим "не торопись". А в годы второй чеченской кампании, когда он даже спать оставался рядом с операционной (столько приходилось резать и шивать!), Ильсия стремглав прошла через порывистый роман с чересчур взрослым для неё коллекционером средневековых гобеленов. Даже отпробовала немного брака, уже через несколько месяцев разочаровавшись в этом институте.

Николай позвал её, ещё не разведённую, лишь ему сравнялось двадцать восемь. Получил капитана медицины, и его финально, будто подаянием, облагодетельствовали ужатой квартирой в доме молодых офицеров на Лебердоне (вспомнил городское прозвище левого берега Дона), а то всё мерз по съёмным проходным, сырым комнатам Выборга или Иркутска. В такие клети он не мог и не хотел никого звать. А Ильсия, как потом стало понятно, уже ждала, что хотя бы кто-то позовёт. Сомнением поехала в ростовское июньское пекло, медленно ответив по телефону уже "да", вместо "не торопись" с таким сомнением, словно напоказ не боялась, что капитан медслужбы может отозвать приглашение.

Они не стали сразу жениться, давая друг другу возможность переиграть. Но меньше, чем через год после приезда Ильсии родила себе и Николаше Ольховому затейливого и беспокойного мальчишку, которому долго никак не могли дать имя. После месяца переборов, странно назвали Миркой. Мироном. Странно — потому что ни во чью честь.

С сыном у них заметно добавилось вопросов, бутуз часто хворал, о женитьбе даже не задумывались. Так, не скреплённые законом, и жили, и катались по стране, меняя гарнизонные госпитали на окружные.

— Ухожу в запас! Надоело нищенствовать. Уже рапорт подписали, — скоро, не всё до конца продумав, отдекларировал Николай; шел 2007-ой год.

Ильсия если в чём всерьёз и винила его, то лишь в том, что он поставил её перед свершившимся фактом.

— А советоваться тебя не научили? Ты один живёшь? Ну, и как нам теперь?

Ему бы самому знать — как теперь. Решили возвращаться в Уфу. Точка их встречи была не только родной для Ильсии, но и стала важной для

Ольхового. Уфа заметно подправилась, облагородилась и почистилась за годы его отсутствия, к тому же возможности прокормиться в ней, казалось, были благоприятней, чем в любом другом месте, доступном Николаю.

Со временем, долго борясь с условиями и поняв, что в районной больнице он хирургией заработает не больше, чем в войсках, решил забыть о своём образовании и написал по электронному адресу на удачу, трижды окружив карандашом объявление на одной из страниц "Уфимского перекрёстка". Объявление заманивало синекурой коммерческого директора в направлении комплексного обустройства офисов. Работа, как можно было предположить, оказалась не синекурой, но и не сложнее любой другой, хотя занимала почти всё время.

Часто ездил — Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Сибай, Нефтекамск, — подыскивая клиентов, знакомясь с риелторами, владельцами начинающих фирм, которым нужен был угол для конторы.

— Зря ты больницу бросил, — неодобрительно качала большой головой Ильсия. — Ты же там только начал работать. Ещё пару лет, и у тебя появилось бы имя, люди бы к тебе потянулись. Ты же прекрасный врач. И с доходами всё наладилось бы.

— Какие ещё пару лет! Нет их у меня больше, — несмело отзывался Ольховой. — Все авансы в моей жизни — в прошлом.

За последующие годы в конторском бизнесе образовались определённые накопления, так что можно было разжиться не только новым — от производителя — стабильным корейским "Хундаем", но и замахнуться в кредит на "двуух". Ещё вовремя появилась и программа сертификатов для военных с выслугой лет, решивших уйти в запас.

Квартира нашлась в недавно построенном многоэтажном сталагмите за Шутуровкой, на дальней северо-восточной границе города, вытянутого, если смотреть по карте, сверху-вниз, как баклажан. Через полгода жизни там сперпелось-сплюбилось: никаких тебе городских шумов, природа вокруг тихо играет ветром по кустам шиповника или кричит галочками стаями. К тому же Ольховой узнал, что с этой стороны, если ехать от города дальше по прямой, неизбежно через час, а то и раньше, наедешь на посёлок Черкассы и на него вроде речки с тем же названием. С днепровским эталоном, конечно, не тягаться, но всё равно забавно. Вот так замыкаются круги жизни...

Помня то, что Ильсия не любит экспромты, он решил загодя, хотя бы за пару недель сказать о своём решении на ближайшее будущее.

— Вот, — протянул вчера ей заготовленный пакет, перетянутый кассирской резинкой. — Здесь четыреста тысяч; всё, что удалось собрать. Я даже себе ничего не отложил... А там пара местных воротил платит, боясь, что если нацисты возьмут их города, то и бизнес оттянут... Так что жди перечисления, я дал реквизиты нашей сберкнижки. Сама книжка всё там же, в спальне, под иконкой в красном углу... Больших денег оттуда не обещаю, но, думаю, вам с Миркой должно хватить.

— Ну, конечно! — Ильсия часто зафыркала, как пловчиха в баттерфляе. — Скажите, пожалуйста! Нам с Миркой должно хватить! А ты не забыл, Коля, что у нас ещё взносы за квартиру?

— В случае чего, сдашь машину. Это — на крайность. "Хундай", хоть ёщё и свежий, но много за него не получить... Однако что-то всё-таки получишь... И хватит, мне надоели твои колкости! В конце концов, ты тоже работаешь. Нечего играть в женщину, которую бросают!.. На самую крайность, позвонишь моей маме. Копейку-другую на внука она всегда даст. Ей, говорит, пенсию прибавили. Ещё гонорары иногда получает за статьи в журнальчике, в "Музейной жизни".

Но понимал, что Ильсия его придерживает никак не из-за денег. И разве любая женщина вот так возьмёт и с поющим сердцем отпустит своего мужчину на войну! А ведь там война — уже в полный разнос...

Он истлел за предыдущие месяцы, не мог спать ночами. Ворочался рядом с женой — не-женой со спины на живот и наоборот; потом на цыпочках, босиком пробирался в кухню, заваривал кофе и до утра присасывался к компьютеру.

Интернет рвал понимание. Его родина горела, его сладкоголосая и открытая, нежная родина, где каждому всегда было удобно жить: и украинцу, и россю, и иудею, и эллину, и хоть папусау. Дуболовый многосоттысячный нацист из Галиции, которого ещё со школы Николай видел злобной крысятью, захватывал там всё.

Вчитывался в немыслимые по дикости реплики к новостям; в эти новости и без ремарок невозможно было верить. Всматривался в людоедские фотографии и видео. Форумы превращались в рубилово: из Украины и России швырялась навстречу друг другу такая словесная рвота, за которую раньше можно было осесть в тюремной камере на годы. Факельный марш нежити в вышитых рубахах по Крещатику, огромный портрет Бандеры на фасаде мэрии, коптящаяся резиновым дымом столица. Объявленный главным телеканалом конкурс на самую отвратную изобретённую насмешку над "даунбасами" и "лугандонами" (очевидно, что людей Донецка и Луганска осталенная страна уже своими не считала). В родном же городе, на Пастеровской улице стреляли в Серёгу Саенко, в когда-то знаменитость изоstudии городского Дворца пионеров, теперь — лауреата, народного художника республики. И всего лишь за то, что он написал и выложил на своём сайте сегодняшнее прочтение гравюры "Сон разума порождает чудовищ" Гойи, всё с теми же факельными походами и уцелевшей сволочью из ОУН; ранили его в желудок, плохо ранили. Семидесятипятилетней матери Лары Княжицкой торговка на Червонослободском рынке плюнула в открытую сумку и поносила грязно — та осмелилась назвать майдан "проплаченным ведьминным шабашем".

Ольховой звонил оставшимся в городе своего детства немногим знакомым, спрашивал: как могло такое случиться? что с людьми произошло?

Но понятных ответов никто не мог дать. Спрашивать у матери — без толку. Она только плакала. Что она могла подсказать из Анапы? Знала лишь то же, что и он. Сколько уж лет вне Украины!.. Пробовала сама звонить бывшей соседке, хлопотные тёте Фае, всегда подкармливавшей Колю Ольхового, любимчика, только что запечённой в кляре рыбой.

Мама хотела поговорить, так та сразу же ей нагрубила:

— Вы там в вашей России ни бельмеса не разумеете, вы там все заговорены антиукраинской пропагандой. Вам, небось, передают, что тут у нас детей режут и их кровь пьют литрами!

Решение ехать вызревало, как незлокачественная опухоль. Долго, месяцами. Ночи превратились в издёвку. Спальня — в пыточный каземат. Ночное воображение бередило одним и тем же, как кочергой в калёных углях: видел родную ухоженную улицу, завешанную кроваво-чёрными флагами ОУН-УПА, и необозримую толпу в парке Долины Роз, ревущую "Слава нации! Героям слава! Смерть ворогам!" А уж после истребления рисковавших не согласиться — первого мая в Харькове и второго — в Одессе, — понял, что всё решено без него. Теперь, хочет ли он того или не хочет, но он уже там. На Донбассе, где ещё едва дышит надежда на возвращение к прежнему и здравому смыслу. Где люди, судя по вырисовывавшейся в компьютере картине, решили ткнуть фиго в морду всех сволочей, оккупировавших страну.

Он торопился, ехал. Что бы ни произошло в ближайшую неделю-полторы, билет уже заказан. На воронежском поле будет ждать его деловой человек, которого отрекомендовали как Штопора; он Ольхового и ещё двух перевезёт-переведёт через Деркул и Могилу-Мечетную в донецкую неизвестность. Самому ведь не проехать.

Врачи понадобятся, ещё как понадобятся! Особенно такие, как Ольховой, который знает, что это — резать, когда из всего обезболивающего в наличии только мензурка этилового спирта и таблетки пенталгина. Полевую хирургию ждут и в Лисичанске, и в Новоазовске. Там скоро будет совсем страшно.

**Белый Яр, Донбасс. 20 июня 2014**

Батальон идёт третий день от Изюма. На станции машины и танки сняли с платформ, и дальше они тянутся своим ходом, колонной.

Остановки до этого были частыми и долгими. Вперёд надо было двигаться с вниманием: в каждом кустарнике и палисаде мог ждать гранатомёт. Разведка авангарда работала с опаской, жить хотелось долго, а тут непонятно, из-за какого крыжовенного куста в тебя влетит тупоносая взрывчатая тварь. Уже первая в колонне БМП растеряла гусеничные звенья сразу на двух противотанковых минах у оставленного жильцами и полуразрушенного села. Бордовые всполохи рассекли и подняли суглинок наезженной колеи, раскачивались волны один вслед другому.

И надо же было наехать сразу на две! А сколько их тут ещё...

Становится понятно, что работали военные, а не те ряженые бородатые казаки в папахах с кубанским красным верхом, которые утром пробовали обстрелять из заколосившейся засады сотню Борягина. Нет, ставил мины профессор. Тут, если внимательно осмотреть площадь под ногами, другого прохода нет, так что неминутое кто-нибудь наехал бы. А разведка разве под ноги смотрит! Она испуганно шарит глазами по зарослям, по пустым оконным проёмам брошенных домов. Настоящих специалистов во всём батальоне наберётся десяток, из которых половина — командированные из-за кордона. Разве на все сотни их хватит! Приходят-то, как правило, такие же припухшие на домашнем диванчике после сытных обедов, мирные в прошлом мужчины — кто на строительном рынке торговал вагонкой и гипсокартоном, кто колбасу смолил в своём сарае, кто в университете философом доцентствовал... Или совсем ещё ничего не понимающие дети, которые только и умеют про "москаля на ножи!", на грудь себе нашивая лого батальона с анфасом гетьмана Ивана Мазепы, срисованным с десятигривенной купюры последнего образца.

— Сотник, знёбу у нас некомплект по броникам. Всему взводу Павлюченко нечем крыться, на хер... Що казать людям?

Громадный Борягин досадливо смотрит на Бейбаса, своего зама, напоминающего пингвина, с родимым пятном во всю левую щёку, носом-клиновидом и неодинаковыми бакенбардами.

Бронежилетов и вправду на всех не хватает. Из Дробышево обещали ими завалить, да разве первый день обещали!

— Могу тебе отдать для них свой, мать её... — сотник начинает отстёгивать липучки по бокам. — Устроит? Считай, один боец во взводе укутан.

Насупленный, мелкоголовый Бейбас перевешивает автомат на другое плечо, ослабляя под подбородком крепёж кевларовой каски.

— Та я що, соби прошу? Хлопцы ж бесятся. Учёба не покормылы, съгодни нараспашку посылают у бой! Цэ ж непорядок, Евгэн Анатольйовыч.

Борягин кивает:

— Непорядок... Согласен. Дальше что? — И щурится на как-то сразу сникшего зама. — А у нас вся мотострелковая бригада на подходе вообще без броников. Ну, и что делать?

— Шо нам до мотострелков! Цэ державна армия. Нехай держава за ных и думае. А мы ж тут усе по свойй воли. Нам броники положены. Есть у контракте, чёрным по белому.

— Да, положены... Но если их пока не подвезли, то что делать? — Борягин постепенно весь идёт первым — белым, пузырящимся — кипятком. — Назад идти?.. — Не дожидаясь ответа, впечатывает винницкому правдоискателю: — У нас задача: до вечера залечь на восточных окраинах Белого Яра, пока сепараты не очухались. К утру подойдёт артиллерия. Всё равно в ближайший день никакого боя не будет. Могут в том недовольном взводе потерпеть или мне самому всё бросать и к ним переться уговаривать?.. Так и передай Павлюченке. И от меня добавь, чтоб не выгибался... Свободен! — гонит он от себя Бейбаса.

В расставленных палатках жить совсем невмочь: днём печёт так, что мозги вытекают из ушей, приходится с двух сторон задирать брезент, чтобы хоть какой-то ветер обдувал. Ночью — не лучше, отпускает лишь под утро, и то ненадолго. А с десяти часов — снова жаровня. Солдаты могут заснуть лишь после сталеплавильного бурякового самогона, на который выменивали ёщё в харьковских сёлах сухпайки НАТО, самим уже приевшиеся.

В оставленных людьми домах почевать тоже не хочется. Там может быть заминировано в самых неожиданных местах и, кроме того, противно: иногда забрызгано кровью по стенам, по мебели, по тому, что осталось.

Борятаев не оберегал голос, матерясь по рации с Ворошуком, отвечавшим за тыловое обеспечение в батальоне. Сколько же, как выясняется, неизменного положено человеку! И если с отсутствием кофе или сменной одежонки ещё как-то можно мириться, то без надёжного запаса патронов, сигарет и солярки двигаться вперёд мучительно.

— Тебе таблетки высыпали? — В рации ещё пробовал его отчитывать по-жизненно циничный хохотун Ворошук. — Так подкармливай личный состав. Меньше клопоту будё. Примут — и враз всё станет веселее.

— Ты что, хочешь моих хлопцев на шмаль подсадить? — Борятаев дал бы своему формальному начальнику в лоб, если бы тот стоял рядом.

— Та кака там шмаль, Женя! То ж так, для поднятия духа, чисто взбодриться, — зубоскалил Ворошук. — Но перед боем — вещь обязательная. Ссать со страха не будут. И тебе меньше нервов, и от хлопцев никаких презенций. Усё для них будё в золоте, амурах и завитушках. Проверено! Я с этим сам через Чечню прошёл.

Евгений тогда отключил связь и пошёл куда-нибудь, в редкие заросли, чтобы никого не видеть и ни на ком из ста подчинённых ратоборцев не обрывать связи. И чтобы хоть полчаса его никто не донимал.

Сеча кругом идёт — до немеющих, отваливающихся рук, до окаменения головы. Бандиты из самопроизводной донецкой республики неожиданными налётами теребят хвосты наступающих правительственные соединений. Армия захлебывается.

Тербатальоны несравненно лучшие обеспечены, ну, и состав собрался по-идейней, все пришли сами, не за шкирку притащены, многие — после службы в войсках, кто-то даже в перерыв в службе, но всё равно, каждый новый шаг, каждый посёлок, освобождаемый от сепаров, сепаратов, сепаратистов-предателей, даётся таким трудом, такими жертвами, что кажется: ещё чуть-чуть, ещё день-два, и всё поползёт, разольётся по неровным полям вокруг, и собрать воедино всю мозаику, когда-то слитно выдвинувшуюся из Кременчуга, будет уже невозможно.

В вынужденные часы простоя Борятаев звонил в Черкассы, если мобильный клавишник ловил сигнал. Выспрашивал тёщу о Светке, о том, чем живут, как.

— Что за соседи вас на Днепр вчера пригласили? Крамаренки? Или которые справа?.. — нервничал он. — Светланка купалась? Да? Вода уже тёплая? А фрукты она ест? Обязательно покупайте ей клубнику. Когда ещё кушать, как не сейчас!.. Прошу, Петровна: клубнику, черешню, абрикосы — обязательно. Персики тоже. Ну, и сами ешьте, естественно. — Спрашивал с опасением: — Деньги за меня получаете?

— Та не хвьльойся за нас, Евгэн. Гроши в нас е. Ты ж залышив. И перевод прыйшов.

— Так как за вас не волноваться! За кого ж мне ещё волноваться?

Борятаев в каждое не занятое войной мгновение думал о Светке. О Толе уже почти не думал — вроде бы вычёркивал медленно сына из своего блокнота.

Вся Солнечная система для него сейчас умалилась до пригорода Черкасс, до дряблого асфальта с заплатками на улице Кузнецова, где в тени садов частного сектора стоял уверенно на своей столетней основе каменно-деревянный дом Стефании Петровны, несколько иенадёжный сверху, но временами подправляемый Евгением или нанятым шабашником из Червоної Слободы. Сожалел, что подворье далеко от Днепра. Вспоминал родительскую квартиру на Гагарина, совсем рядом с самым прекрасным парком, королевством фонтанов и роз, так и названным — Долина Троянд. Под окнами квартиры на парапет тихо шлёпались взбаламученным песком днепровские волны. Парапет, кое-где забросанный пустыми бутылками, ржавеющим городским непотребом, начинался напротив подъезда, только дорогу перейти.

Хотя одному из ведущих архитекторов города, Борятьеву-старшему, и полагалась обширная квартира, всё равно последние лет двадцать жили скученно. Жить даже в пятером было несносно. Родители вынуждены были или уходить куда-то на целый день, или запираться в своей спальне, резервации, чтобы не мешать сыну и невестке растить шалящего наследника. Толик озоровать научился ещё в роддоме, вереща, как вся гусиная стая. А уж когда Тося родила ещё и Светланку, то Борятьев-старший и мама даже перестали есть на кухне, забирали тарелки-чашки к себе.

— Не переживай, Женечка, мы там прекрасно всё оборудовали, — успокаивала мама. — Столик себе купили чудный для обеда, телевизор смотрим...

Если бы он тогда знал, как легко и страшно решится их жилищная перенаселённость!..

Сын как-то удивительно быстро вырос. Шумность и топотание по комнатаам сменились у вытянувшегося и потемневшего длинными волосами Толи закрытостью. После школы ненадолго уехал, поступил в столице на компьютерного сисадмина. Вернулся на неделю, и снова — “Досвидос!”. К внезапно подошедшему двадцатилетию ему надо было выделять свой угол. Говорил, что собирается жениться, а возвращаться — ни за что. На отдельный угол сыну у Евгения не было; решением стала лишь продажа квартиры и выдача доли из вырученных сумм. Дал в обрез, на самую маленькую однокомнатную; в столице и такие стоят злых денег.

По получении положенного, Толик пропал — нагло, совсем не звонил, сменил номер мобильного.

Покупку новой квартиры для Светланки и себя Борятьев пока отложил, решив пожить у ставшей совсем одинокой тёщи, тоже выплакавшей все слёзы после похорон. Там, в гудении пчёл, в апрельском цветении грушевого сада боль выносить, казалось, полегче. Дочке также полезно побегать в чистом воздухе, ну, и присмотр со стороны старухи...

— Анатольйович! Я за тобою, — отрезает от Светланки, тёщи, Черкасс нашедший его вездесущий Бейбас, низко-гулким, как речной пароход, голосом напоминая, что кругом, по всему донецкому кряжу — костоломка. — Нам прислали нового отделённого во второй взвод, к молодым. Токи що прыйихав з штабу на машине с хавкой. Знову консерви курячие прывэзы, на хер, просроченные. Знову хлиба не прислали. Тут кругом мычит и курлычет столько жратвы, що только успевай. А ось бэз хлиба — жесть.

— А чё же этот отделённый так долго до нас добирался? — всё ещё булькает Борятьев.

— Та мóвить, що им неправильно в Изюме сказали, де нас шукать. Я перезвонил, проверил... Хлопчина, вроде, адекватный. По внешности — толковый стреляка. Говорить, що ёщё до этой бути служил сверхсрочную, тута, недалёко... Десантура. — Бейбас утирає пальцем струйку, стекающую на верхнюю губу. — Сам його поглядишь, або взводному показувати? Но ты ж слыхав за нашего Зозулю? Однэ слово — вуйко з Полоныны. Энтузиазма — на трох, а с подготовкой хуже. В трэмбітах он, може, и понимает, но вот в десанте...

— Идём... Сам посмотрю, — встав нехотя с трухлявого пня, Борятьев впереди заместителя идёт к сотне.

— И прислали нам малюнки дитячі, цеу коробку, — продолжает докладывать Бейбас.

— Какие там ёщё рисунки? — недоволен Борятьев.

— Я ж говорю: дитки малювали, з Харкова, зи Львова, з Запорижжя, з Дніпра. На коробке було написано: “Захистникам от детей Украины”. Ну, акцию провэлы... Малюнки рíзни — е вэсэли, е нэ дуже. Так я казав роздаты ўх бійцям. Нехай дывляться, бэруть соби на згадку. Ну, ѩоб нэ скурвиться тут на вийни.

— Правильно сделал, — задумывается Борятьев. — И мне несколько рисунков принеси. Буду на них периодически посматривать. Чтобы тоже не скурвиться.

Прибывший соискатель должности десятника отделения кажется споровистым, сотканным сплошь из сухожилий, с упрямым глазом, с короткой рыжей стрижкой. Голым по пояс моется под рукомойником. При виде приближающегося вероятного начальника встает в некую позу, намекающую на "смирно". Но видно, что не от неумения, а наоборот, от навыка. Как бы обозначал чинопочтание, не напрягаясь на его исполнение.

Пока шли, зам поведал Борятьеву в одном длинном предложении подноготную соискателя. Тот воевал с самого начала антитеррористической операции в другом батальоне, был даже взводным, но потом разжаловали, пока — до отделённого: разрешал своим солдатам немного шуровать в домах освобождённых посёлков и городков, ну, и сам ложку мимо рта не проносил, а люди стали плакаться командиру батальона, и дошло до того лица, на чьи дотации и формировался батальон, и хлопчине приклепали "подрыв доверия населения к освободительной миссии", понизили в лычках, но оставили на контракте, потому что воевал расторопно, хватко, опрометью врываясь в укреплённые блокпосты сепаратистов, расстреливая автоматами с обеих рук бандюганов и приставших к ним люмпенов.

— Ты откуда родом? — Борятьев быстро читает у приехавшего верительную грамоту — предписание, — мельком лишь сравнив фото на паспорте с оригиналом.

— Из Херсона, — новоприбывший натягивает футболку хаки и поднимает бронежилет, чтобы надеть и его.

— Да, был я как-то, давно, правда, у вас. — Евгений возвращает документы парняге. — Не знаю, как сейчас, но тогда что-то город мне не показался. Разутый какой-то, в натуре, неприбранный. Село.

Вместо того, чтобы обидеться, разжалованный, слегка ощерясь, суживая глаза, закуривает без разрешения и отвечает негромко:

— А шо ж вы хотели там увидеть? Рази ж хороший город назовут "Херсон"?..

Борятьев зовёт Бейбаса рукой, и разрешает отвести новоприбывшего к отделению, представить. В напутствие:

— Отделение неплохое. Пацанва, в основном. Всем — чуть больше двадцати. Есть с приводами в милицию. Двое с судимостью, на условно-досрочном. Ты с ними — без церемоний!.. Есть и совсем ёщё не троганые... Но все готовы тут сепаратов жечь. Так что моральный дух на высоте. Твоя задача — научить их бою. И, по возможности, вернуть домой не очень покалеченными. Они стране ёщё понадобятся.

И отворачивается, слыша за спиной басящие добавления Бейбаса, нетерпеливо ожидающего, пока новый командир соберёт все свои вещи и готовится показывать тому вверяемое отделение:

— До позавчора десятником там був гараздый хлопчина, Марат Сокольников, бувший вэ-вэшник, охранник з унутрішніх військ, сторожив якись зони. Сам прыйхав до нас аж з свого Орла. Хоч і москаль, но националист, звездячил бандюг даунбасовських та усяких рашистов от сердца! Он московську владу нэ тэрпив. Хотив витділятъся вид Кавказу та ішаков азіатських. И правильно знаяв, що борба за визвольнія його Раши починається тут, в Українини... Та, на жаль, підстрэлылы його позавчора. Нас тоді крепко вздубили сепары...

— А с настоящими москальскими военными биться пока не приходилось? — интересуется новоприбывший. — Говорят, сюда две парашютные роты из Пскова перебросили.

— Ни, — слышит Борятьев затухающий, по мере удаления от него, пароходный гуд Бейбаса. — З такымы побы що не прыходылося. А ты ўих тут бачив сам?

Ответ разжалованного взводного уже не разобрать. Борятьев отошёл далеко от него и Бейбаса, начиная обязательный обход палаток сотни, близких дозоров и проверку складирования арсенала.

\* \* \*

Пора сотню передавать Бейбасу. Он, в натуре, не совсем готов командовать, технику знает не в деталях. Срочную отслужил ещё когда! Потом же, остальную жизнь у себя в городе, ставил новые стеклопакеты по домам... Но, что бы там ни говорить, служака проверенный. В защите не отсиживается, боя не боится, научился уже контролировать всю сотню, а не только тех, кто в секторе видимости. И слушать учится. Это главное на войне — слушать всё вокруг.

Евгения же забирают в штаб батальона, общаться с закордонными по-сланцами. Вот — гляди ж ты! — с института английский совсем забыл, а как понадобилось — вдруг вспомнил. Почти всё сам понимает, если говорят не-быстро. Во всяком случае, дошкольную речь командированного на Донбасс офицера шведской или румынской разведки разберёт. Хуже с англичанами — те тараторят так, что хоть прося их письменно повторять. Они не собираются говорить разборчивей, уверенные, что весь мир обязан знать их язык. Но они, к счастью, приезжают с переводчиком.

Шпионами и военспецами из НАТО ему приказал заняться командир батальона, Сева Зильбертруд, больше похожий на уманского хасидского раввина, чем на боевого коммандо. Тихий, в очках, говорит абзацами из Кастанеды, Достоевского и Ветхого Завета. До Борятыева дошло чё-то мнение, что Сева — дальний родич того, на чьи деньги и собирался батальон. Видимо, инвестор никому другому своё войско доверить не рискнул.

Борятьев, и до войны имевший счета к похожим на уманских раввинов, теперь Севу втихомолку не любит. Догадывается, что главный приз того в нынешней войне — всё, что будет отбито. Конечной целью батальона могут быть металлические заводы на севере Донецка.

Суки, короче, и Сева, и его родич, нахапавший долларов за предыдущие годы, и эти скурвленные североатлантические офицеры... Разберёмся с ними, когда заломаем донецкую урлу! А пока приходится сносить...

Борятьев понимает, что его переводят на связь с закордонными подсказчиками не из-за того, что он, один из немногих, кое-как балакает на английском. Скорее — из-за его военного прошлого, поскольку срочную службу он служил замкомвзвода в роте морпехов Северного флота, в Поморье, на мысе со смешным названием Канин Нос. Из-за не растерянных, как оказывается, за все последние десятилетия боевых рефлексов, из-за того, что в его сегодняшней сотне — самые малые потери батальона, из-за того, что командует твёрдо, у него среди взводных, десятников и рядового элемента репутация крепче титанового сплава. Из-за того, что воюет дельно, не шкурит, себя не берегает как-то особо, сам с автоматом прикрывал отход своих янычар, когда требовалось... А натовским советчикам, надзорным, разведке... какого-нибудь колупая не дашь на связь, тут нужен человек в ответе, кому бы верили.

Он много стрелял на этой войне. Ещё с мая, когда батальон воевал в Приазовье, до того, как их после переформирования отправили по железной дороге сюда, на север Донбасса, на самое пагубное направление — на Донецк... Стрелял преимущественно наугад, просто в сторону бандитов, отвлекая на себя. Им самим убитого увидел лишь однажды.

Албанец, смуглощёкий, тощий, будто высосанный, фельдфебель Мехмет Ширá, в выдавшей виды полевой немецкой форме, с шевроном УЧК на рукаве. Прибыл сюда ещё с тремя такими же, вроде бы, советовать, обучать хлонцев диверсионным основам, ставить незаметные растяжки, но, как потом стало понятно, больше — за человечьим материалом. Предложил через неделю после приезда Борятыеву за почки, сердечный узел, лёгкие или другие "запчасти" от любого только что убитого мальчика, хотя бы парня не старше 25-ти, такие евро, что Борятьев с дочкой смогли бы на них прожить довольно беззаботно и довольно продолжительно. Всё нужное для хранения и перевозки — в наличии, всегда с собой...

Но сотник в это предприятие не вошёл. Он, не произнеся ни единого слова, оставил в грудине фельдфебеля-патолога-анатома половину пистолетного магазина. Ощущение оказалось сильнее его, отмеченного медальювой

скового командира. Ощущение взорвалось в нём в одну тысячную секунды, как осколочная граната, ненадолго полностью разрушив разум.

И лишь потом, только через час с небольшим пришло понимание, сознание стало склеиваться. Возобновились мыслительные процессы.

Бейбас, единственный, кому Евгений сказал о своих отношениях наедине с прикомандированным фельдфебелем в тростниковых плавнях, напрогнозировал Борятыеву расстрел за загубленного албанца, если узнает батальонный, а особенно Служба Безпеки, которая наверняка благословила предприятие албанского дольщика.

— Не узнает, — через сведённые челюсти провыл сотник, уже и так проклявший себя за свою, из детства идущую, невоздержанность. — Кроме тебя, об этом больше никто не узнает... Пропал без вести косовар, испарился. На войне такое бывает. На ней и не такое ещё бывает, — добавил, выравнивая вдохи-выдохи. Снял с борта одного из грузовиков сотни ещё новую, в обрывках складской упаковки, лопату. С другой машины — такую же. — Лучше помоги приховать эту косовскую мряку.

Они вдвоём стали зарывать торговца внутренностями на заброшенном огороде при неизвестно чьей опустевшей хате.

\* \* \*

В первом взводе зовут зайти. Как объясняют, поесть зажаренной на костре свежины — поймали в оставленном хозяевами сарае бокастого пороссятку; резал буковинский Солодчук, он из крестьян, привык. Обещают и чарку подности: ночью у Гришки Зацаринного первенец родился, брат позвонил. Все земляки Гришки из Комарно загодя скинулись по гривне, двум, трём, ещё в Изюме, купили ему в стационарном киоске бритву с поворачивающейся парой лезвий, чтобы молодой папик, наконец, сбрил свою чудаковатую бородку.

Борятыев в охоту угощается свежиной, но от Немировской фирменной водки отказывается: ни к чему это амикошонство с подчинёнными, вредно это.

— Ну, Грыць, твоему сынку — чтоб вырасти здоровым и счастливым, а тебе — семейного ладу и пухлого кошелька, — дополняет пожелание взмахом складной вилки, которая всегда с собой. — И вернуться домой героем... Слава Украине!

Взвод нестройно отвечает положенным приветствием.

— Дякую, панэ сотнику, — центр празднества, заострённый, как богомол, с широко расставленными, мутноватыми глазёнками и пышными ресницами, не имеющими цвета, будто запылёнными, подкуплен редким вниманием командования. — Обицяю, що нэ зраджу... Нэ предам. Для мэнэ цэ почётно — служиты пры вас.

Борятыев роется во внутренних карманах куртки, пока не находит там серебряно-мельхиоровый, ещё с имперскими вензелями Александра-Миротворца пустой портсигар, историю обретения которого уже и не помнит.

— Ты ж, по-моему, Грыць, курящий. Ну, так вот тебе на память. Не от сотника, не от начальника. Считай — от боевого товарища.

Награждённый запорхал загибающимися ресницами и медленно принял из рук командира имперский подарок.

— Дякую, Евгэн Анатольйович. Вэльмы дякую. Знов обицяю — вы нэ пожалкуєтэ про тэ, що взялы мэнэ.

— Не сомневаюсь, что не пожалею! Как только можно будет, дам увольнение на пару дней. Поедешь, на сына посмотришь, — стучит слегка его в грудь Борятыев, собираясь уходить. — Ну ладно, хлопцы. Отмечайте и дальше. Но чтобы у меня — без чэ-пэ. Понятно? — С притворной строгостью глянул на комвзвода, журчащего носом и дёрганого Вовчика Салия, одетого в форму на два размера больше, с закатанными рукавами и штанами.

— Так точно, Евгений Анатольевич, — высыпывает исполнительный Салий, поправляя збрую на животе. — Слава сотнику! — гукнул в персонал позади.

— Слава! — не стройнее, чем в первый раз, отвечает взвод.

Борята подмигивают.

— Ну-ну,.. — снова невсамделишно грозит взводному пальцем. — Вот только давай тут без культа личности.

И идёт дальше, не поворачиваясь.

Второй взвод решает проверить потом. Там сейчас Бейбас нового отделенного представляет.

Шагает натруженными ногами к машинам третьего взвода, которым командует всегда чем-то неудовлетворённый кировоградец Павлюченко. Теперь вот из-за бронежилетов права качает...

“Да найду я тебе броники, ехидна, найду уже сегодня! Ты б и сам их давно своему взводу обеспечил, в натуре, если б у тебя этим голова была занята. А то только и знаешь, что перегонять отсюда ставшие бесхозными автомобили в глубь страны, на продажу, а то и отымать у даунбассов”...

Ещё издали услышал гогот и выкрики:

— Дай ему, совковой вше! Дай ему в хлебало, Тюрин. Ужми этого колорада! Нехай подохнет, лайнó! Это ему за наших разведчиков, шо они по завчера пожгли...

Сотник с разбегу влетает в десятиголовое, обритое, шевелящееся скопище хаки-людей в камуфляжных разводах. Под подкованными носками тяжёлых британских ботинок сжимается на земле тело, одетое в неформенные, выпачканные ржавым, присохшим рваные штаны и когда-то бывшую белой майку. В теле различается седеющий и истощённый мужичок, задохлик. Его ещё два часа назад взяли на подходе к Белому Яру, в одном из оставленных домов — прятался в погребе. И уже тогда было понятно, что он не ополченец. Слишком немолод, и выворачивал ступню, опять же, подволакивая несгибающуюся ногу.

— За откол своего собачего Даунбаса вид нэньки Украины голосував у апреле, поц? Воював проты наших? — Бейбас его тогда допрашивал.

Пороха на прятавшемся утром не обнаружили. Никаких свидетельств его партизанщины — тоже. Иначе сразу же застрелили бы или подвесили под стрекой любой хаты поблизости — в назидание. А так только: разбили лицо и сломали кастетом челость.

Зачем же рейтары из взвода Павлюченки снова стали его обрабатывать? Похоже, что у схваченного в погребе только что, от прямого удара ботинка вытек глаз. Мужик в крови закричал такой жутью, что, кажется, вся Борятаевская сотня затихает и оборачивается к месту казни.

— А ну, за-а-а-асохли! — сотник взнузывает голос, заскакивая вультразвук, от чего ломит уши.

Тернополец, сержант Гавриш, с бритой по бокам, с переда и затылка головой, вошёл в ритм и бьёт мужика под ребра лопнувшим от упражнений мыском армейского бота. Сотник ловит его за шиворот и легко отбрасывает назад, метра на четыре, да так, что Гавриш валится в дорожную пудру, подняв грязные облака.

— Я кому сказал “засохли”? С первого раза не понимаешь, гондурáс? Дальше буду уже бить в харю.

Солдаты в мгновение ока обрывают физзарядку, знай норов сотника.

— Так вин же — вата. Откольнык с-сучавый. Сéпар! — пробует отрыгнуться тернополец.

— Доказательства того, что он воевал, нашли? — Борятаеволосует отделение взглядом анаконды. — А раз не нашли, то нечего тут подкачиваться на ком попало... Он нам живой сгодится. Сменяем его на кого-нибудь из наших, кого вчера сепараты в плен забрали... И, в общем, — сотник, расцевшая красными пятнами по шее и лбу, оглядывает свои списочные вооружённые силы, — вы бы лучше прыть в бою проявляли, а то буцкаете штатских, которые под ногу попадутся! — Оглядывает с недолгим вниманием лежащего мужичка, завывающего от боли и с силой прикрывающего ладонью дырку

выбитого глаза. — Приказываю: отдать этого в штаб, Купревичу, пусть сам решает, это его функция.

И печатным маршем идёт дальше — смотреть складирование боеприпаса.

— Сотник! — слышит сзади недовольный озвы.

Поворачивается. На него неторопливо надвигается Гавриш. Под солнцем бликуют свежебритые виски и лоб; лишь на самом куполе — хвост волос, на манер казацкого хохолка — “осэлэдэц” или “селёдка”, как его называли ещё в семнадцатом веке оборонители Руси, ухари Запорожской Сечи с днепровского острова Хортица. В ухе — медная серьга.

— Чего надо? Ты чего-то недопонял? — неприязненно бурчит сотрудник. — И почему не по форме обращаешься?

Гавриш подошёл почти вплотную.

— А вы, пан сотник, зи мною — по форме? Якэ вы ма́лы право мэнэ торкáты пры рядовых? Я вэ ж сэржант!.. И ще ображáты...

— Ображаты? — топырит губу Борятаев. — Это я тебя не оскорблял. Это я тебе ещё комплимент сказал. Это ты потом узнаешь, как я крою... У себя, в своём городишке Зараже будешь быковать или откуда там ты сюда объявился, весь такой резкий! А у меня ты будешь шёлковый... И иди, иди, не зли мне характер.

Сержант отряхивает дорожную пудру со штанов сзади и нахохленно плятится Борятаеву куда-то во вторую пуговицу на куртке. В глаза не решается глядеть.

— Я рапорт подам. В штаб батальону, — выдавливает он гортанино, будто бы без помощи зубов. — Вы из ма́стэ права зи мною так... И ще докладу про тэ, що обмáжуэтэ нас, колы мы колорадив гнобымо.

— Докладай, докладай, Гавря. Я таких докладчиков уже имел... — Сотник решает спрятать кулаки в карманы штанов, не уверенный в себе. — А про то, что я вас ограничиваю в вашем произволе, мы ёщё поговорим. — Борятаев всей тяжеленной статью покачивается — с левой ноги на правую, с правой на левую. — Вы, сучье стадо, тут страну защищаете от карапаских банд и их охвостий? Или свои делишки решаете? Думаешь, я не слышал, как ты утром, на привале, откровенничал с Тюриным? Базлал что-то в таком роде: “Где ёщё в Украине можно теперь безнаказанно трахать любых баб, брать всё, что понравится, из любого дома! здесь можно снять с груди у попа золотой крест, и ничего за это не будет, кроме ордена!.. Да, сéпары могут и кокнуть, но уж такая судьба; кто не рискует, тот... не рискует!..” Или скажешь, что такого не говорил?

Сержант пожимает плечами.

— Ну и що? Так багато хто думає. И хто мэнэ за цэ засудыть?

— Я осужу. И тебе этого будет — с верхом, по горлышко... В бою-то ты не такой лихой. Я ж вижу, как ты всегда за углом ховаешься или по ямам, когда остальные на сепаратов идут. — Борятаев понимает, что пора прекращать воспитательную беседу. Авторитету не способствует. Это не его, сотника, дело. Есть Павлюченко, взводный, пусть и воспитывает... Но не может не поддеть: — Хотя, чего ёщё от тебя ждать? Бандеровец!

У Гавриша достаёт смелости поднять глаза. С ударением:

— Ну, я — бандэривец. А вы щось пруты маётэ? Бандэривци — найперши патриоты України. А про тэ, що я ховаюсь дэсь у бою, цэ ще доказаты трэба. Вы свидків нэ найдэта.

— Зачем мне какие-то свидетели! — подсмеивается Борятаев. — И кому доказывать?.. Ты запомни, Гавря, я для тебя — и следователь, и исполнитель приговора. И никто не пикнет.

Посчитав, что разбирательство окончено, собирается продолжать обход. Не удержавшись, ставит окончательную точку в воспитании. Или несколько точек:

— Ты, Гавря, рано хвост на дядю сотника решил поднять. Ещё одно кривое слово от тебя услышу — инвалидом сделаю на всю жизнь. Руку ты мою должен был запомнить. С того, первого боя, у Ясногорки. Помнишь, как я твоего дружка, Тюрю, приложил? Когда он, гнус, вместо того, чтобы драться с бандюками, шедшими на нас с северного боку, свою доблесть перед

безответными бабками и детьми села выказывал, пугая выстрелами в землю у их ног... И ещё... — закрывает от солнца правый глаз, смахивая с лица комариний балет. — Давно хотел спросить по другой теме: а чё ты, Гаврия, тут из себя казака запорожского строишь? Чуб-оселедец отрастил. Как бы — по стилю, потому что в Украине сейчас это в почёте? — он улыбается, но улыбка — из триллера. — Какой же ты казак? Они православными были, а ты — униат. Я ж знаю! Это как раз казаков из-за оселедцев и стали дразнить “хохлами”. А ты ж у нас не хохол, а бандеровец. Как же! Вы ж — белая кость, совесть нации, вы ж хохлов и за полноценных украинцев не считаете! Тогда зачем рядишься, мразота?

И, не собираясь слушать ответ, гремит подкованными подошвами к сгруженным с КамАЗов ящики боекомплекта.

“Никуда эта бандеровская сопля рапорты писать не будет. Шакал, как и все они... А вот пулю между лопаток от него в бою я могу заработать... Впрочем, на то и бой: пуля может залететь откуда угодно — что от Гавриша, что от бандючеллы донецкого...”

\* \* \*

Сотня как-то обустраивается на ночлег. Неторопливо и не основательно.

С новым докладом по пути заворачивает Бейбас. У него темнеют потные пятна на спине и у ворота.

Подсчитал, что в селе найдено двенадцать трупов; в основном — старики. Лишь одна — девка. Боевиков не нашли. А дохлого скота — без счёту.

— Хорошо, позови Ворошуку в штаб. Скажу, чтоб бульдозер подсыпал. Будем ховать. У нас третий взвод сегодня меньше устал, чем другие; так скажи им, чтоб все трупы стаскивали по ту сторону шляха, подальше, чтоб не подцепить заразы. Раздай медицинские маски и прикажи взводному проверить, чтоб все они после перетаскивания помыли руки с хлоркой. А я начну ставить второй взвод в охранение.

Заместитель устало козыряет.

— Ну сделано, Анатольйович.

Борятьев последовательно осматривает всего осунувшегося зама.

— Что, Валера, притомился?

Тот немного играет в браваду:

— Та с чего бы, сотник? Усё в порядке. Свеж, як огурец, — и кривозубо лыбится.

— Ну-ну, — шелестит присланными штабными циркулярами Борятьев. — А как дела дома? Тоже всё в порядке? С родными общаетесь? Что там у вас?

— Ничёго особливого, — Бейбас садится напротив командира, закуривает тонкую дамскую сигаретку. — Бизнес йдэ погано. Люди всё реже заказывают новы окна. Грошёй нэ хватает... Зато вдома — полный ажур. Доныка в этом учебном году будэ школу кончаты. Она в мэнэ отличница, на золоту мэдаль йдэ...

— Ну, пруха тебе! — откровенно грустит Евгений. — Не то, что мои.

## К югу от Тореза. 27 августа 2014

Для ремонта батальонного мотохламья юному технику Дивайсу обычно выдают троих-четверых подручных из пленных. Сейчас же — лишь двух, заташенных в правительственную армию по мобилизации или, в фольклоре, “могилизации”.

Угрюмый мужлан с кустистой шеей, по которой механическим поршнем ходит рабоче-крестьянский кадык, Пилип Горишин, из трудяг, судя по шишакам мозолей на исковерканных руках. Ноги в чужих растоптанных ботинках. Всё на нём чужое, свободно обвисает, хлопает от движений.

Проговорился, что по домашней профессии он сварщик. Вот и попал к Дивайсу. Откуда приехал — молчал (ну, большей же военной тайны не бывает!).

Кому какое дело здесь, откуда кто приехал! В стране уже давно никто не разделяется по адресам, лишь — по мечте.

Другой же — тёплый, желтоволосый, совсем одуванчик, мальчуган, призванный в Ковеле, именем Муси́й, для ополченцев ставший Му́ськой. Всегда в разговоре кивает, настолько часто, что лишь удивляться остаётся: как только позывки выдерживают! По стандарту волынян, говорит на протяжном украинском, через фразу вставляя польское раздосадованное “холера!”, когда что-то не получается; быстро ест то, что дают, даже заметить никто не успевает, как он вычищает пластиковую мелкую тарелку, зачем-то обязательно моет в конце минутной трапезы, будто её собираются вторично использовать. Ещё исхитряется немного из еды прятать в карман, чтобы позже подкормить тварину из кодла набежавших дворняжек или облезлых кошек, оставшихся в войну без хозяев; те сгинули или убрались из этих проклятых мест. Ополоумевшие животные хромой, осипшей оравой сбиваются со всего края, жмутся к людям, каким угодно, лишь бы к людям; иначе — гибель.

— Му́ська, имья в тээ како-то жидовське, — сочливо допытывается Дивайс посреди собственного перекура, сидя на ящице, облокотившись о задний люк добытой ещё в июльском бою давно устаревшей БМП. Му́ська воздыхает, потому лежит рядом, покусывая стебель дикого житняка. Над ними оскаливаются руины, когда-то называвшиеся районной машинно-тракторной станцией.

— Муси́й... Это ж Моисей. То есть Мойша. Ты, часом, не из этих?..

— Та ни, — улыбается мобилизованный волынец, отмахиваясь, как от мошки. — В нас Муси́йив забагато. То ж хрыстыяньське имья. А вы, панэ Дывайсэ, з руських?

— Можно и так казать. Мал-мал и белорус. Мамка — бульбашка, з-под Витебску... — Дивайс сплатывает табачную горечь. — Усе мы — русские, з Киевской Руси. И ты тож.

— Дыво́бо, — дивится Муси́й. — А нам у школи нэ так пояснювалы... Чого ж мы воюемо? Якшо мы уси руськи...

— Да, воюем, и это наша, унутрянна вийна, меж русскими, и з твоей Волыни, и з Слобожанщины, и з Курску, и з Мурмáна или, положим, з острова Сахалину... На мою думку, пиндосы с Европой так хотят. Шоб мы меж собою резалися. Чем нас, русских, меньше, тем им жить просторней. Та й пиндосам и у Европе бы драчка не помешала, та й везде вокруг них, шобказалось, шо сами они живуть, почитай, в последнем затишке на земле, шоб усе денюжки мира к ним плыли, шоб самим жирнеть с того... Ну и, известно, им надо придавить Русь потому, шо их усе боятся... — Дивайс обрывает окончание посыла, отряхивает с себя сонность и разморенность и, загасив о броню остаток сигареты, возвращается из аналитического дискурса, а вместе с этим объявляет завершённым и перекур. — Ну, будет, пошли. Нам заменитель для гидромеханики реверсной передачи дизеля дэсъ шукать надо, и левый трак натягивать. Придётся натягивать вам двоим. Я не смóжу: у меня дырка от прострела у шеи ще свежа, болить... Я лучше тормозной механизм слева буду перебирать... Де твой однополчанин? А ну, шумни его!

Му́ська, всё ещё мутниющим голосом зовёт престарелого сварщика, заснувшего в тени развалин:

— Пан Горышин! Йдэмо працювáты, пан Дывайс клыче.

\* \* \*

Утро блестит, горизонт размыт, пелена нагретого воздуха колышется зыбким маревом. В накаляющееся небо идут соки земли, вся её страсть. Полове вокруг дышит.

Высущенные солнцем подсолнечники. Каждый боец хотел бы семечек, но никто не пойдёт — остались противопехотные подарки от нацгвардии; она тут неделю стояла, мало ли чего припасла для сменщиков...

Ольховой не спал всю ночь, живёт вчерашним, ворочает сейчас это вчерашинее в тяжёлой голове.

Вчера, ближе к вечеру, ездил в горбольницу со списком; Довгalo дого-  
ворился с главврачом. В палатке Ольхового всё заканчивалось, особенно ан-  
стезия и пенициллиновая группа, и шприцев — лишь полкоробки, а это на  
день, ну, на два.

Батальонный дал свой “бобик”. Николай согласился только на Шлыка  
шоффёром. Другие — не здешние, всех трои тут не знают. При этом на Шлы-  
ка можно положиться, как ни на кого: наученный, внимательный, слушает  
каждый шорох листа. Когда надо — взрывающийся, когда надо — нетороп-  
ливый, всегда занимает верную позицию для стрельбы; отстрелявшись, при-  
крывает прикладом у себя то, что обязательно надо прикрывать. Если бы  
Ольховой не знал предысторию этого цыганского отродья, то был бы уверен,  
что оно заканчивало диверсионное отделение спецучилища, настолько это от-  
родье было приспособлено под войну. И стреляет — на загляденье, и пусты-  
ми руками умеет, а также ножами, лопатами, палками и всем остальным,  
что выхватит конокрадский глаз, к чему можно дотянуться. Такой ролью  
жить надо!..

Загрузились в больнице нужным и стали осторожно выезжать из госпи-  
タルного двора, который целиком заняли раненые в больничных пижамах,  
а дамы — в легкомысленных пеньюарах. Все, наверное, до одного, вышли  
из корпуса, кто мог ходить, чтобы глотнуть остывающего к вечеру воздуха.

Машину выезжала за ворота. Ольховой и на улице, вдоль квартала, уви-  
дел немало гуляющих в пижамах и исподнем. Те, у кого ещё оставались  
гривны, выжидали в очереди к продуктовой лавке на углу улицы — конфе-  
ты-суфле, воды-пиво, яблоки-бананы. Не ругались, как обычно в очереди, а,  
видимо, неторопливо вели среди своих политинформацию и делились вестя-  
ми с полей.

Шлык уже собирался проезжать перекрёсток, как Ольховой услыхал на  
высоте, в подлёте, развязный и тонкий звук мины, среднего диапазона. Вдо-  
гонку — другой, побасовей. Услыхал и Шлык, потому что рывком ускорил-  
ся, послав в непристойном направлении все базовые правила, через встреч-  
ное движение в запретный для проезда переулок. И сразу же сзади детонация  
раскормсала пространство.

Оба обернулись. Вслед догонял хлористо-красноватый клубящийся ком  
воздуха, собравшего камни, землю, фрагменты взорванного перекрёстка.  
По “бобику” посыпалось и стекло, и древесная труха. На капот бахнулась  
оторванная ударной волной ветка каштана, потом — кровавый обрубок в ло-  
скутах ситцевой пижамы.

— Вот нам и подарунок от укропов. По больничке целили, падлы! Да  
тильки в ных руки не с того места растуть, ничего не умеют, даже попасть.  
А потом ще скажут, шо то мы́ пуляли.

Николай высунулся из окна. Больница вроде бы задета не была, а на ме-  
сте лавочники и очереди — следы взрыва... Оттуда шёл уже чёрный дым.  
В прогалинах можно было видеть несколько разодранных в стружку тел на  
тротуаре и на дороге. Загорелся ИЖ-“каблук” у киоска, на заезженной ре-  
зине своих четырёх колёс, — стоял тут, верно, для подвоза товара. Уцеле-  
вшие люди, сметённые психозом, уже стойко засевшим в них за последние  
три месяца, семенили, рвались — кто куда. Безумный вой женщины, упав-  
шей на колени от увиденного; ноги не держали...

— Стой, мне надо туда! Останови! — Николай дергал Шлыка за ру-  
ков. — Там же люди!

— Та ты дребанулся, штоль, Богданыч! Убитым ты вже не допоможешь.  
А раненых и без тебя больничные соберуты! — Цыган яро выдёргивал правую  
руку из вцепившихся хирургических пальцев. — Да отпусти ты! Я ж так ве-  
сти не можу. — Потом как-то извинительно: — Я не маю права останавливаться.  
Пойми ты, мне Голова сказал сурово: только в больничку и обратно.  
Не останавливаться ниде, даже если дождь пойдэ з укроповских знамён. Да-  
же если ихний президент на дороге сам буде стоять и голосовать попутку.  
Не маю я права... Нам с тобою, Богданыч, сейчас погибать не можно. Тебе  
ещё стольких залатать надо! Впереди война длинная, падла! А мне... мне еще  
много чего нужно сказать укропам...

Ольховой дословно вспоминает Шлыка.

Николая всегда резало это — “укроп”. Как затуплённым консервным ножом разрезало. Все не-украинцы в движении Отпора так называют: и местные, и донские казаки, и горцы, и русские с Печоры, и русские с казахстанских просторов, и втянувшиеся в ополчение приблуды с атлантических берегов. Украинцы же в ополчении, понятно, не могут так небрежно о вчераших своих, по ту сторону поля, поэтому подбирают синонимы, как угодно: вуйкó, бандера, свидомíт. Ну, и “нацик” — универсально для всех в Отпоре.

Уже через неделю после появления здесь, ещё в начале лета, Ольховой не сдержался, спросил кудрявого комвзвода Затохина, промышлявшего до войны уличной рекламой на щитах в Донецке:

— Так я тоже, по-твоему, укроп?

— Т-ты... ты шо, Айболит! Бог с тобою! Який же ты у-укроп! Ты ж наш, украинець, — начал пристыжено выводить заикания взводный, и, стущевавшись, как бы выпрашивая о снисхождении: — Т-та в мэнэ жинка напов-украинська. И сам я...

Теперь, сидя у палатки и снова проживая вчерашний удар миномётов, Николай вдруг задумывается, о чём не часто думал — о национальном, родовом.

Его это почти не касалось в той, прежней, очень давней жизни. Да, любил песни, до дрожи рук. Часто ставил на проигрыватель старую, ещё сороковых годов пластинку Оксаны Петрусенко, на 78 оборотов, “Ой, не світи, місяченку, не світи нікому”. Родители показали. Сердце обрывалось и останавливалось. Пластинка была заезжена всеми поколениями Ольховых посредством граммофонной иголки до такого состояния, что через неё под конец можно было рассматривать солнечное затмение... А ещё был Анатолий Соловьяненко — “Чом, чом, земле моя”, Паторжинский...

Всегда в потаённых закоулках чего-то, что всецело принято называть душой, тепло ёкало, когда читал или слышал о людях, одного с ним роду-племени, дошедших до самых вершин в державе — былой, большой, которой уже нет. Кто-то стал первым министром и канцлером Империи, кто-то — министром обороны Союза, потом ещё один. Кто-то вырос в величайшего биофизика, кто-то разрабатывал самые первые и самые дальние в мире ракеты, а на чём-то режиссёрском новаторстве учат и по сей день киноников всех континентов.

Но на этом всё-таки слишком не залипал. Последний год в школе был отдан только сверхмечте. Хирургии.

С чего началось такое наваждение, уже не помнил. Пошло всё, вероятно, с той операции, которую он в пятнадцать лет прочувствовал на себе сам. Прочувствовал не саму операцию, уточнял, а её последствия. Приведение в норму скрюблённой с материнских родов одной из лодыжек сделало его совершенно полноценным. Настолько полноценным, что навечно были забыты детские унижения и подавленность от того, как его щадили на физкультуре в школе, как он никогда не играл мячом с дворовыми в “штандер”. Настолько полноценным, что без каких-то оговорок потом прошёл медкомиссию в академии.

Видимо, в месяцы перед операцией и после он восхитился строгим очарованием труда своего хирурга, Вилены Игоревича, собранного, всё на свете прочитавшего, пунктуального, ироничного; подростка Колю Ольхового задевал вызов этого занятия — спорить с анатомией, исправлять то, что запущено или испорчено.

Так что с тем, на кого учиться, было определено давно. Никаких подтаскивающих сомнений! Лишь вопрос: где?

Немного разобравшись в окружавшей жизни, понял, что врачи в стране — не самое привилегированное сословие, и зарабатывают плохо. Тем более, что под конец школьной беззаботности из семьи исчез папанька; ушёл, выпивши на прощание нелепой и затянутой, покаянной речью. О маминой же одинокой поддержке и разговор не шёл: она б не сдюжила тянуть сы-

на все годы учебы в медицинском (а годы эти дольше, чем в любом другом институте...). Так что, как ни соображай — только военмед имени Кирова, на полный казённый счёт. И после академии... Тогда офицеры ещё получали пристойно; пристойней, всё-таки, чем цивильные коллеги.

\* \* \*

Из мыслей о вчерашнем и своих началах его извлекает ассистентка. Вокруг всё ещё скрипит и нехотя бухает дальными взрывами войны.

Фельдшерица привела немного покалеченного в сегодняшней быстрой свалке с разведывательным взводом тербатальона "Хорёл", грязного по шею солдата. Многозначительно улыбается. Не по поводу пациента. По совсем другому, ясно.

Втолкнула в палатку страдальца. Ольховой заторопился вслед.

На сей раз предстоит вправлять вывихнутый локтевой сустав. Вправлять незнакомому бойцу, не только грязному, но и вонючему, обветшалому, мелкому, измазанному кровью, хотя, по всей видимости, не своей.

У входа в палатку Оксана шепнула Ольховому в ухо то, что ей сказали привезшие о покалеченном.

— К вам как обращаться, друг?

Обветшалый трясётся от боли, смотрит на врача затравленно.

— Кирия. Шерстобитов.

— А сколько вам лет, Кирилл? — старается Ольховой подобнее.

— Тридцать восемьой пошёл...

— Быть не может! — Меняется лицом хирург. — Я думал, ты старше меня. А мне ведь уже хорошо за сорок.

Шерстобитов перестаёт трястись и осторожно кладёт вывихнутую руку на толстый лист фанеры, подразумевающий операционный стол.

— А вы, доктор, поработайте в шахте семнадцать лет кряду, так я погляжу, на сколько вы будете выглядеть. Я ж горняк в трёх поколениях, с Енакиева.

Николай смотрит на бедолагу с сожалением.

— Чего ж ты воевать пошёл, горняк? Мне Оксанка сказала, что твой командир тобой не очень-то гордится. Ты и стрелять-то, по его словам, до конца ещё не научился. Автомат, вон, весь покоцанный. Я ж — военный. Вижу, не бережёшь его. Это ж не за сегодня ты всё цевьё ободрал, ремня нет, в стволе трава торчит...

— Чего я воевать пошёл? — Глаза у горняка разливаются карим несчастьем. — А вы б не пошли воевать, когда вашу племяншку, ещё школьницу, спаскудили трое бугаёв из нацистской гвардии в Мариуполе? Поймали на улице, затащили в бойлерную под разбитым домом, и понеслось... То ли все вмазанные были, то ли накуренные. Ржали всю дорогу промеж друг-дружкой на непонятной мове, лицо племяншке изрезали... Сейчас она в "дурке", лечат, она после того случая дважды хотела с крыши стребнуть, еле успевали за руку ловить... Сеструха моя — в милицию, а ей там: нужно лучше за дочкой следить... Дело отказались заводить. — Шерстобитов непокалеченной рукой смазывает с грязного лица мокроту, безвольно сочающуюся из глаз. — А вы, доктор, спрашиваете, чего я воевать пошёл! Автоматом моим попрекаете... Да вообще — доманали они меня, до самой хребтицы! Вы бы не пошли воевать, когда вас за скотину принимают! Те, с хунты. Когда учат, как надо Украину любить, будто я без них не знал! Когда заставляют по-ихнему молиться и думать! Когда пообещали всех недовольных "новою владою", ну, хунтой, всех в шахтных копанках засыпать! Вы бы не взяли автомата?

Хирург внимательно изучает куртку горняка.

— Сам сможешь снять?

Тот опасливо вертит головой: не-а.

Николай начинает резать правый рукав камуфляжа огромными ножницами закройщика, наточенными о булыжник.

Вправил сустав быстро. Шерстобитов жмурился с силой, боясь живодёрских мук. Добела накалённая боль и прожгла его всего, но лишь моментом. А затем, сразу же — успокойние; он с нескрываемым идолопоклонством смотрел на избавителя...

Когда подправленный горе-комбатант уплёлся, Оксана рассказывает, что приходили от Головы. Тот “велел негайно прибыть”.

Ольховой налаживается на поиски: Довгáло на месте не сидит. Вероятно, сейчас зовёт из-за тех двух захваченных важных бандер, которых ещё вчера должны были привезти из-под Кутейниково; у одного из них, как говорил батальонный, нога — чуть ли не на ампутацию...

Николай видит батальонного в тополиных тенях, у архивных, мало десспособных гаубиц — их после Отечественной не использовали, лишь недавно привезли из городского сквера, даже защитная покраска ещё не поскреблась. У экспонатов гудят и посмеиваются расслабленный, полураздетый штурмовой десант, покуривая, попивая по кругу воду из пластмассовой бады.

— Ну, мы со Скоморохом, ёпсть, швыдко в горевший дом и впрыгнули, — начинает различать Ольховой, подходя ближе. Вещает ополченец с гладким лицом, без рубашки и майки, подставивший спину и татуированную шею солнцу под загар. Хирург, потряся свою память, как пыльный ковёр, не враз, а по буквам выбивает из неё позывной вешателя: В-е-п-рь. Один из старожилов, бýтесь с самого начала, добрался монедом-пешком из Чернигова, на окладе футболил за город. Ольховому говорили, что стреляет Венрь — как дышит, в любом положении, при любом освещении, а ногами дерётся так, что и рук не надо. В его, вепревом, перечне уже полсотни значительных пленённых врагов. Служит в знаменитом отряде захвата, под началом самого Скомороха. О них стали слагать сказания. — Впрыгнуть-то впрыгнули, — слышит Николай уже отчёлливей, — а там четверо укров, из передней розвидки, ёпсть. Ну, двоих мы тут же уконтрапушили, один оставшийся пытался убегти, ёпсть, но Скоморох ему стрельнул по ходулькам. А второй, оставшийся, уже собирался дёргать за гранатную чеку, ёпсть, я еле успел нажать на курок...

— Не мог ты на курок нажать. — Довгало не в духе, примериваясь уходить. — Курок у автомата чи пистолета, то такой механизм ударного бойка, як молоточек, бýтесь по капюлю. Курок так звётся, бо вертить при ударе наконечником, як жива курка головой. Но его ж не видно, сука, он внутри корпуса. А то, за шо вы все стреляете, то бишь на шо нажимаете, звётся спусковым кручком, або спусковой скобой... Говóрю это вам всем так, для вашей общей интеллигентности.

И замечает Николая.

— Пишлы, Айболыт. До тэбэ е справа.

Ольховой пожимает батальонную руку.

— Какое дело? Привезли, наконец, тех двоих нацев? Ну, по поводу плохой ноги у одного из них...

— Та ни, ще не прывезлы, хай йим грэцы!.. Наши хлопци звóнять, говорять, шо не можуть пробытыся, усыды посты нациков, сука. Вночí змоглы тýльки задами, огородами пидыхаты до сэла Благодатного. Може, як будэ тэмно, спробуют пройихаты напрямкы чэрэз полэ. Пёхом нэ выйдэ, сука. Той старшой, з схваченных, якый хóдты нэ може, такой хряк мощный, що його на руках нэ понисты... Ладно, будьмо й мы ждаты, хлопци чогось надумаюта. А поки що — тоби трэба глянуть того, шо Вэнрь со Скоморохом прыволоклы. Чув, що Вэнрь казав? Нацiku ноги прострэллы, щоб нэ вбижав. Тэнэр плаче, сука нацгвардийська, як дитята мала. Так ты глянь — шо да как. Пули повытаскую. Помажь там чым-нэбудь... Ну, нэ мэни тэбэ учты.

Они идут в сторону жалкой, никудышной рощицы, стыдливо прикрывающей, будто с бока зачёсаный локон, проплешины голой, как череп, запущенной пашни. Даже не рощицы, а чего-то весьма прозрачного. По пути комбат матюгает бойцов, которые устроили склоку по поводу того, кому заkapывать трупы брошенных тут нацгвардейцев.

Перед тем, как батальон Довгало занял позицию, её держала рота пра- вительственных внутренних войск, присланная аж из-под Ивано-Франковска. Костяк роты — о чём говорила стрельба — был свидомым, идеино-вы-держаным, дрались до того, пока не закончились припасы для боя. Но, к удивлению старослужащих Отпора, укатывая отсюда на запад с пустыми патронниками, почти сохранив свою технику (лишь пару бронетранспортеров сожжёнными в лохмы покрышками отдав нападавшим), остатки роты не стали, как раньше, забирать полегших сослуживцев. Оставили всех, даже ещё шевелящихся, не схоронив убитых, на ночную потребу лисам и воронам.

— Как теперь убеглые будут смотреть в лицо родителям? Родителям тех, кого они тут побросали... Они ж все, понимаешь, с одних и тех же сёл и посёлков, — с выползшим знобящим страхом спросил подпалённый в том бою ополченский воин-чулымец, меткий охотник на соболя, узкоглазый, не по-славянски круглицыц, с позывным Харакири, приехавший стрелять откуда-то из-за Енисея и после боя попавший к Ольховому на обработку ожогов. И думал охотник, наверняка, в тот миг о себе, окажись он на мес-те брошенных. — Как они могли так со своими же?

— А ось так и моглы, — тяжело ответил Довгало, пришедший проверить, как устраивается хирург, сразу же после установки госпитальной па-латки. — Цэ вам наука.

Семён Довгáло, под которым и служит Ольховой, при приезде того в рас-положение, в июне, перво-наперво самым подробным образом выспросил всё у военврача. Спрашивал даже о сокурениках, спрашивал о тех, с кем знал-ся на последующей службе, номера госпиталей. Потом всё это, безусловно, проверялось спецотделом движения Отпора.

Но, чтобы не показаться мнительным, кое-что рассказал Ольховому и про себя. Вроде бы, получалось взаимное глубокое знакомство.

Приехал Довгало, по его быстрым показаниям, от самой Матери городов русских, из спящих и заштатных Броварóв. Вчерашний... — ладно, пускай, позавчерашний — инструктор огневого контакта в милицейском училище, готовил и парней из "Беркута". Новую власть поклялся уничтожить после поджога его выпускников зимой на Грушевского, улице Институтской и Евро-пейской площади, за "беркутов", поставленных на колени во Львове и Ровно, за филаретов-денисенок, самозванцев, раскалывающих православие Руси, за бандер-униатов, схвативших страну за горло, не просто не скрывающих, а кичащихся своим омерзением от схиднякóв — и совсем не кацапов всяких, москалей, а таких же украинцев, которые на востоке, — омерзением от ма-неры говорить, от раздобревших форм, от православия, посмеиваясь: "их бо-родатые попы ладаном провонялись..."

— Ты чуешь, Айболыт, они ж нам говóрлы напрямкý: вы — недодел-ки, низшая раса по отношению к захиднякам, западынцам, греко-католикам, ширым европéйцям, не знавшим крепостного права. Всех, кто восточнее (да-же годовалых дитóк!), записываются в алкоголики... Ещё бы: в Галиции ж алкогольизм неведом! Там же одни ангелы летают и питаются тильки цве-точнымnectаром!

Для Довгало, давно разменявшего пятый десяток жизни, вдруг стало со-вершенно очевидным:

— Захидняки — не украинцы, зóвсим нам чужи, они ж точили, ока-зываются, на нас ножи все симдэсят четыри роки у составе республики.

Он с удивлением припоминал свою дембельскую связь с Христей, Хри-стиночкой, колдовски красивой девахой из Старого Самбора, говорившей на лемковском искривлении мовы. (Уходил ее срочной в запас с лесной заста-вой на самом начале Днестра). Помнится, тогда у них двоих всё склады-валось, даже женихались...

Про семью свою ничего не говорил, держал в себе. Вряд ли кто в бата-льоне что-нибудь знал.

...Звонок от комбата:

— Айболыт, давай у штаб! Ну, который в столовке... Хлопци бандер прывéзлы. Я тож зараз туды йду, — Довгало был краток.

В столовке-штабе складе электричество не появилось. Да и с какой ста-  
ти? Тужатся бензиновые коптилки и пара шахтёрских ламп.

Одновременно подошедшие комбат и хирург протискиваются через неор-  
ганизованный хурал ополченцев, окруживших звёзд группы захвата и приве-  
зённых ими двоих гостей.

Сквозь подрагивающие длинные тени частями высвечен ужаснувшийся по-  
ляк нечёткого возраста. В натовской форме без погон цвета кофе с молоком;  
вся в защитных разводах, она скроена для боёв в пустынях Месопотамии.  
Найманец сидит на корточках, потёкший, в чаплинских усыках и торчащем ди-  
кобразе коротких волос. Сразу же начинает для Довгало более-менее произно-  
симо ведать о себе по-русски, быстро перескакивая со слова на слово: Рáфал  
Жимчак, город Познань, по набору, хорунжий в отставке, командир танка, за-  
писывали в легион в Варшаве, улица Доманевска, записывал какой-то амери-  
канчик, флотский (даже представлялся, но не удалось запомнить), в джинсах  
и форменном пуловере с надписью "корвет Vanquisher", две тысячи восемьсот  
долларов в месяц, двухгодовой оклад семье в случае гибели, в Познани рабо-  
ты мало, платят чепуху...

Трепещет, сопливится, выклянчивает жизнь.

Второй — здоровущий, на порядок больше любого присутствующего,  
с остриженной под машинку головой, потный толстяк, в обычной форме,  
не пустынной. Его посадили-положили в валявшееся на полу пассажирское  
кресло, открученное из автобуса.

— Ну и бизон! — знакомо крячет Довгало, рассматривая. — Такого зам-  
есто трактора нужно в плуг запрягать. Справьтесь не хуже...

Форма гиганта в проколах и забрызгана, но по вороту и по берегу вид-  
но, что облачение новое, недавно со склада. Мало ношенными выглядят и вы-  
сокие кожаные ботинки, с подкованными каблуками и носками, на четвёр-  
ке ремешков, не на шнурках.

Толстяк — с разодранной от бедра левой ногой и задетой рукой. Левый  
бок тоже побит. От боли бизон кривится, заламывая губу. Увидев подошедшего  
и склонившегося к нему старшего из хозяев (как можно заключить из  
уверенной повадки бородатого низенького качка), и особенно того, кто при-  
шёл с командиром, у него с лица почему-то сходят страдальческие очертания.

Он, как заколдованный гипнотизёром, прошёлся застывшим глазом по  
комбату, чтобы потом медленно перевести на Ольхового и так свой откры-  
тый глаз закрепить на всей последующее время.

Николай рассматривает вблизи разбитые в драке лица обоих пленных,  
исследуя темноту подкожной крови. У бизона совсем заплыл другой глаз,  
верхнее веко отекло.

— Нашу мову розумиешь? — Довгало ему. И для чего-то переводит: —  
По-русски понимаешь?

Громадина, иссохлым языком зря облизывая треснувшую губу, отвечает  
едва различимо, вприсвист, как проколотый мяч, испускающий дух:

— Самый глупый вопрос, на который в жизни мне приходилось отве-  
чать...

Ольховой едва ухватывает начала слов, а слабый на ухо Довгало совсем  
ничего не может разобрать.

— Я спытав тэбэ: з яких будешь? Тэж лях-ляшок?

— Я не лях. И не ляшок. Я украинец, в отличие от вас, — бизон еле  
раздвигает искусанные и разбухшие губы.

— Ты глянь! — изумляется Довгало. — А по-русски говорить краще,  
ниж я сам... — Обводит окруживших его степняков повеселевшим взгля-  
дом. — А ты, хлопак, часом, не з России? А то я вже бáчив таких. Сам русь-  
кий, а за нацистив воюе!.. Начальну подготовку тут проходишь, щоб у Рос-  
сии пóтим повоювати?

Толстяк слабо шевелится, поглаживая разорванную ногу значительно  
менее разорванной рукой.

— Я уже сто раз говорил вашим подчинённым, которые меня сюда тя-  
нули. Я украинец. Здесь родился и вырос. Чего вам ещё от меня надо? Мои  
документы у вас.

Ольховой внимательнее рассматривает сидящего на автобусном кресле исполина. Изучает не столько продранные борозды в застывшей крови на его ноге, сколько лицо. Голос толстяка просто ударил Николая, даже ненадолго поплыли в глазах остьвающая накануне ночи земля и полукруг бойцов, обступивших его и обоих пленных.

— Семён Данилыч, — он отзывает Довгalo в сторону, — если по внешнему виду, то того пшека не задело, и моя помощь ему не нужна. Пусть ему просто дадут умыть его польскую рожу холодной водой, и со временем у него табло выпрявится. И, в целом, пусть помоется... Хотя нет ли у него болевых симптомов помимо тех, что появились от того, что его наши орлы отмелили? Я его позже посмотрю. А вот у бизона нужно сейчас же быстро в ранах порыться, чтобы не началось самое скверное. На первый взгляд — раны поганые.

— Да, конечно, Айболыт. Негайно забырай його. Повторю: вин нам потрибен годный, не хворый, не покалеченный. У нас на нього вэлыки планы. Йим персонально наша спецура зайдеться. А пóтим... Або будэмо його показуваты телевизионщикам закордонным, як доказ того, что проты нас воюе, або зминяе його на когось-небудь з наших. По званию можемо, нáвить, його на Конопенку змияты... А шо? Конопенко був у нас замом начальника контрразведки, у полон ще в мынулому мисяци попав, у бою під Северском, а цэй бизон, як мэні доклáлы, у ных зараз служив по звязку з закордонными розвідульськими.

И був сотником каратэльного батальону, шо шов на Донэцьк.

Ольховой ещё раз оценивает гиганта.

— Давай, Семён Данилыч, подгоняй сюда машину, и пусть парни его грузят. Они его на руках в мою палатку не донесут... Мужчина, видать, центнера полтора весит, если не больше... Ч-чёрт, боюсь, стол его не выдержит...

\* \* \*

В медпалатке — привезённый полуторацентнеровый пленный и хирург. Настороженно-внимательно рассматривают друг друга.

Николай до этого отоспал незаменимую Оксану за дополнительным освещением; керосиновые лампы, электрические фонари, стearиновые свечи — всё сгодится. Пока же он подносит к оплывшему лицу толстяка автослесарный светильник, пытающийся с обычного аккумулятора, который достался от распоротой пулёмётом малолитражки — накануне везла харчи батальону.

— Жетон? Женя?.. — Ольховой заговорил глухо, будто из-под одеяла. Даже сам удивляется не совсем своему голосу. Зубы постукивают, губы подрагивают. Руки тоже. — Борятыев? Неужели ты, Жень?

Раненый, мигая, смотрит одним глазом в лекаревы оба, корёжа в ухмылке черту разбитого рта.

— Да, Коля. А я вот сразу узнал тебя. Всё такой же подобранный, прямо как выноша. А к нашим годам мужики, чаще всего, раздаются в живо-те. Пивко, ничего не поделаешь... Сколько же лет прошло, вынош!

Ольховой пробует считать.

— Да уж, верно, не меньше тринадцати. Если помнишь, я в начале нулевых годов приезжал в Черкассы. Последний мой приезд, на сей день. Попаду ли ещё?..

— Да, припоминаю. — Огромный мужчина слабо шевелит посечённой рукой, которой он всё потирает то бок, то разорванную штанину над коленом. — Ты тогда со своими одноклассниками выпивал. Если б я случайно не заглянул в наш шалман “Якорь” (у меня там была назначена, помнится, встреча с одним из торговых партнеров), мы б с тобой тогда и не увиделись... Ты, как я помню, был во всём парткулярном, но говорил, что офицер, в отпуске, служишь в русской армии. Что-то по медицине... — Открытым глазом обводит собеседника всего, по линии силуэта. — Так... Значит, вот в какой ты армии!

— Я уже давно, Жетон, не в армии. Уволился. — Ольховой опускает фонарь, чтобы не пережечь этот пока один, видящий глаз пациента.

— Но всё ж костоправишь, как выясняется. И у кого!!!

## К югу от Тореза. 28 августа 2014

Командир батальона для охраны израненного пленника подсыпает Ольховому немногословного солдата, твердо kostного, недавнего комбайнёра агрофирмы из-под Старомлиновки, одной из первых захваченной галицкой “гвардией”. По виду этот бывший аграрий — в норме, нетерпеливо играет предохранителем автомата, то переключая на стрельбу очередями, то на одиночную, то на стопор, то снова на очереди.

— У-у-у, ну и темьница! — поговаривает и пощёлкивает.

Проходя мимо, однако, Николай отмечает едва уловимый запах. Внимательно осмотрев глаза сторожа при свете ночника, хирург понимает, что экс-комбайнёр несколько в подпитии.

На малое злоупотребление в батальоне Довгало смотрит если и не с одобрением, то с пониманием; наказывает, но не больно — сам не abstinent. Всё ж можно и выпить для того, чтобы в чувство прийти в перерыве между атаками. Не колоться же! Это пусть вражина колется. Как накануне взяли у деревенки за аэропорт нацистский пост, по которому всюду шприцы на дне окопа лопались под каблуками.

Но не приведи Господь, что батальонный делал, если по вине перепитого воина случался сбой, не говоря уж о большой беде! Во второй роте каждый помнит особенно тягостное утро 16-го августа в полчетвёртого, когда уже сивушно-невнятный и засыпающий Бомбила на засаде охранения не зашёк трио диверсов, осторожных диверсантов, вырезавших ножами караульных у подвала с артснарядами, гранатами и остальным боезапасом и даже начавших под низ закладывать радиомины, обмотанные пластилом. Батальон остался бы не только без огневого ресурса, но и был бы подорван, не меньше, чем напополам.

Комбат цепко вглядывался в закошенное лицо Бомбили, икающего, быстро трезвеющего. В конце осмотра, ничего не сказав, без какого бы то ни было отношения, Довгало вдавил в сердце сорокадвухлетнему ополченцу, таксисту с улиц Горловки, единственную, но вполне достаточную пулю из каляшникова.

Тогда попытку удалось придушить. Всех троих диверсов взяли. Без документов, как всегда с диверсами и бывает. Приходилось верить засланцам, сразу же обмякшим, на слово, хотя — какая разница!

Втоptанный ребристой подошвой в траву, под тычущимся в затылочную щетину стволом один из них, изворотливый, захлебывался украинским, сплёвывая кровь разорванного рта, что из Гайворона, что соблазнили, — где сейчас ещё в стране такие гробы получишь! — что шёл войной на оккупационное полчище, а оказалось... Что давно разочаровался, что это убийня, эта бесконечная степь, этиочные прогулки...

Рядом скрежетал зубами молдаван, неизвестно откуда, отказавшийся говорить подробно.

Третьим, старшим дивер-группы, исходя из подчинённого к нему обращения гайворонца, в резком свете шахтёрской лампы вылезлся датчанин, как сам объявил. С остывшим взглядом, схожим с осенним медленным закатом. Коротко, по-мальчишески стриженый, сухой, мышечный, в форме ефрейтора украинской армии; назывался Магнуфом...

Ему связали руки и ноги отрезком электропровода. Он попеременно, то на эскимосско-русском, то по-английски, не надеясь, просил не убивать. Готов к какому угодно сроку, пусть даже на Алдане, в урановых копях. Говорил, что тоже давно разочаровался в этой, без будущего, Украине, уехал бы, но командировка лишь через три недели заканчивается, а затем предполагалось повышение в должности, у себя... Подрагивал, но держался, не плыл в слюнях, как большинство связанных за предыдущий месяц наёмных ландскнехтов с проправительственной стороны.

Все трое приползли из тербатальона “Хорол”, из-за поля.

Диверов стояли в двухметровую воронку от недавней ракеты, со скорбным прощанием: “Вот ваши тут и окопчик для вас отрыли”. Вбросили туда сначала одну, потом другую гранату-лимонку, и, скучаясь, присыпали, не более метра — лишь бы не воняли со временем в круглосуточной жаре. Гранат накануне нарыли много, наткнулись на “захованку” регулярной армии при подходе к Малой Шишковке; а патроны становились дефицитом, пока не удастся отобрать цинки у отступающих или убитых из тербатальонов.

За прикопанного датчанина спецотдел Донецка чуть было не вынес исключительную меру самому Довгалю.

— Ты шо?! — с диким лицом, шёпотом (чтобы солдаты не услыхали) орал на него Монастырский, новый замначальника контрразведки, задёржанный, уставший дедун в роговых очках, уже девять лет как не районный прокурор. Он специально приехал на трофейном “Хаммере” в батальон Довгalo, чтобы решать что-то с экстремацией датчанина. В их политучёбу попал и Ольховой, которого вызвали для совета по трупным изменениям. — Мы тут с ног сбились, по-одиночке зыряя натовцев, шоб предъявлять их миру, а ты, комбат, вбываешь таку бесценну улику!..

Но дни сменились новыми днями, а Довгалю, не колеблясь, продолжал расстреливать. Бывало, что и своей рукой. Стрелял и схваченных тербатовцев, и двух собственных слюнявых мародёров, которые вывозили на батальонном ЗИЛе ухваченное из разбомленных и оставленных хат и квартир.

При отбитии очередного села из-под опеки юряда (все называли новоприобретённое украинское правительство только так), выезжал к тому, что считалось центральной площадью, на внедорожном “Сузуки”, реквизированном кем-то ещё до войны у автомайдановца в оставленном ныне Славянске.

Машина была забита сокрушительной техникой: предусилителем, низкочастотным усилителем, вуферами, сабвуферами, терминаторскими динамиками, ещё чёрт знает чем... И, включив все децибелы, Довгалю вколачивал насыщенным, раздольным басами по селу и окрестностям, проигрывал один и тот же привезённый из дома компакт-диск с подбором песен, лучших, пожалуй, из очень недавнего, общего прошлого. Ласкающую “Услышь меня, хорошая” баритоном Георга Оттса сменила маршевая “Летят перелётные птицы” от Владимира Бунчкова, а за ней — печальная, как бы рефреном, “Летять, ніби чайки, і дні, і ночі, в синю даль...”. А в послесловие — обязательное “Прощание славянки”: среди грома геликонов и литавр истонченным серебром вышивали флейты.

— Большой був человек, цэй Василь Агапкин. Такэ написать! Ось скильки вже слухаю (аж не повершишь, Айболыт!), а мурашки всэ одно по шкири йдут... — сказал он в один из таких перформансов Ольховому, после взятия батальоном деревни Корчеватое. — Цэ в нас така традиция, Айболыт. Завмість митингу. Митингуваты нэмá колы. То ж нэхай люды чують, шо свои прыйшли...

\* \* \*

Борятаев всё ещё кусает от боли нижнюю губу, но одноглазо и въедливо всматривается в бедный интерьер медпалатки. Ворочается на нестойком и жёстком осмотром диване, на который его сгрузили ополченцы, в надсаде внесшие в хирургию более полутора центнеров вражеской плоти.

— А что за картинка у тебя приколота на стене? Сам рисовал? Я ж помню, ты когда-то неплохо, в натуре, умел... Кто это? Если по камзолу с жабо, то — время первого покорения Америки. Случайно, не Магеллан ли?

Ольховой подходит к перефотографированному из учебника наброску, держащемуся булавкой за ветхий брезент.

— Не угадал. Этого звали Амбруа́з Парэ. Он у меня — что-то вроде вечного талисмана. Знаю: пока он со мной, ни фига плохого не случится.

Пациент заинтересованно спросил:

— А кто он?

Николай проводит ладонью по пришипленному листу, как будто стирает пыль, и идёт к поступившему больному.

— Кто он?.. Француз. — С усилием двигает неподъёмное тело, с подстилкой ровно на середину лежака, обитого кожзаменителем. — Считаю его зачинателем всей полевой хирургии. Он впервые стал лечить прямо в бою. Избавил раненых от травм; до него ж раны или огнём прижигали, или кипящим маслом заливали... Первым додумался до захвата щипцами кровоточащих сосудов и лигатуры. Придумал много нового инструмента, протезов...

Но внимание Борятыева уже на другом. Его обнадёживает операционная лампа над, хочется думать, хирургическим столом.

— Неужели настоящая? — с недоверием спрашивает.

Хирург шуршит в кофре упаковками с перевязкой, иглодержателями, пинцетами. Постепенно выкладывает на операционный стол ампулы, новые зажимы, ранорасширители и одноразовые шприцы, ещё запаянные в плёнку. Выкладывает на чистую, не использовавшуюся поролонку, покрытую отрезом бинта, ровно, почти параллельно ближнему срезу стола. Кладёт на одинаковом расстоянии одно от другого... Война — не война, а привычки не меняются.

— Самая настоящая лампа. Только ненужная. Электричества-то нет. Ваши кабель перебили вдоль трассы. Так что страдать тебе — от своих же.

Зайдясь кашлем, мастодонт отваливается на подголовник.

— Ничё. Как украинцу, не грешно за нэнку Украину и пострадать. Возвращение домой, в Европу, из застенков Раши простым не будет. Украи́нцы готовы страдать. Не тебе чета... — Потом чуть просительней: — Коль, ты б уколол мне чё-нибудь. Ну, сил уже нет выносить рези; у меня вся левая сторона — как на решётке гриля.

Ольховой всё ещё роется в кофре, производя специфично медицинские и успокаивающие звуки.

— Уколем, когда можно будет. Сначала я тебя немного пощупаю, а ты мне расскажешь про ощущения. А уж потом я буду колоть обезболивающее. — Он вспоминает: — И вот ещё что... Наперёд... Не надо мне тут про Украину и украинцев! Не тебе меня форматировать, Женя.

— Это что за выступление? — предгрозовым тоном начинает Борятьев. — Почему это не мне про Украину? А кому? Тебе, что ль?

Николай отрывается от ампул и кофра. Тихо, но в звучании ультиматума, отвергая любые будущие возражения:

— Не тебе, Женя. Какой ты, к чуме, украинец! Чего ты заладил: "Украинец, украинец"!.. У тебя же и мама, и папа — чистые русаки. Ты ж даже говорить по-украински можешь лишь через пень-колоду.

Борятьев даже задыхается протестом:

— Зато ты у нас корифей разговорного жанра! Как же! Мама у него — учительница украинского! При таких условиях не то, что ты, а и мартышка бы язык знала.

Ничего другого Николаю не остаётся — лишь повести слегка плечом:

— Причём мама? У меня и папулька только по-украински дома говорил. Всё ж Богдан Ольховой. Он же из Славуты. Там других языков не знают...

Примолкает, наливая в пробирку немного спирта, готовит ватный тампон. Трогает лоб Борятыева свободной рукой, рассупонивает ему полностью куртку и раскидывает в стороны её половины.

— А, кстати, как твои? Анатолий Владимирович и Марина Юрьевна. Надеюсь, здоровы... Я их помню так, точно вчера видел. А самарский расстегай в исполнении Марини Юрьевны я просто до сих пор во рту чувствую. Вкуснотень несравненная!

Евгений отворачивается; не хочет, чтобы приятель видел его мгновенно потёкшие глаза. Выдавливая каждое слово, поначалу замедленно, словно после апоплексии, начинает рассказывать: и про застывший в нём навечно кошмар дорожной катастрофы в ливень, осиротившей его сразу на жену и родителей, и про Светланку, оставшуюся с тёщей в Червоной Слободе, и про сына, неведомо куда запропастившегося, и про свою безработицу

в последние несколько лет... Он уже быстрее выбрасывает слова, снова удивляясь: почему он это говорит Кольке Ольховому, о существовании которого он, казалось бы, забыл? Рассказывает всё помимо желания, будто духовнику, будто во всём свете больше никому этого рассказать раньше не мог. Неужто исповедоваться пришёл час? "Да ну, херовина, глупня! Ещё повоюем! Рано панихиду по себе заказал". Но слова, пусть и с сопротивлением, всё продолжают из него вылезать. И старается примолкнуть, прикусить следующее, но вот новое, и ещё одно, и ещё одно слово, и опять — о тёще, о Светланке, и даже о срочной своей службе, ещё при Советах, уже такой далёкой, хотя и незабвенной, в Поморье, на мысе со смешным названием Канин Нос... И опять о...

— Поверить невозможно! Господи, вот беда-то! Вот уж чего никому не пожелаешь! — Николай стоит рядом, отставляя далеко на подставку и спирт в пробирке и роняя тампон, и, забыв про ампулы и боясь пошевелиться. Позже, после мертвеннного, свинцового молчания: — Да, Жень, братка... Выпало ж тебе! — Кладёт продолговатую ладонь на грудь раненого. — У меня всё не так трагично, но тоже приятного мало.

Он медлит с ответной исповедью. Отбирает, что из неё стонит произнесения, а что лишнее.

— Папулька ушёл от нас, когда я девятый класс заканчивал. Вот такой был мне подарок к летним каникулам. Нашёл какую-то бабищу, вроде бы у себя в Хмельницком или где-то там ещё. А где теперь — не представляю. С тех пор не общались. И жив ли... А мама жива. Добавить, что здорова, будет преувеличением. У неё прогрессирующий полиартрит, совсем больно ходить...

\* \* \*

Хирургу уже понятнее с пациентом.

Разрезав на нём оставшиеся военные тряпицы, он осторожными пальцами протрогал всю левую сторону Борятыева, чутко реагируя на всякий стон, высматривая о точном местоположении каждой боли и том, как она отдаётся.

— Сейчас я тебе вгоню слегка в ногу уколычики, то есть туда, где тебе, Жетон (таково было его юношеское прозвище, а Ольховское — Кокос), особенно невыносимо, как ты говоришь. Но полностью тупить болевые симптомы пока не буду, иначе ты мне ничего не сможешь рассказать про самочувствие. А твои рассказы в отсутствие рентгена — единственное, на что я могу опираться... В руку и бок пока колоть не буду. Потерпи. Я там ещё не всё прощупал.

Жетон отвечал вяло:

— Ну, давай... Хотя бы в ногу. А то я сейчас, похоже, сознание потеряю. Уже больше суток терплю.

Пахнуло спиртом. Николай, протерев пару мест, быстро, по косой вводит иглу в каждое из них. Оперируемый и не заметил.

Со временем левая нога леденеет и успокаивается. Резь всё ещё покусывает бок и руку. Но надо выносить, сжаться.

— Я в последнее время, Кокос, жил между домом Стефании Петровны, ну, матери Тоси, — как будто продолжает прежнее Борятыев, — и кладбищем, где Тосю с моими родителями схоронили. Первое время каждый день к их могилам ездил, проводил там почти весь день, дотемна. Говорил с ними. И не мог наговориться... Через год немного стало отпускать...

Николай пристраивается у ног Борятыева, на угол лежака, всё ещё рассматривая кожные покровы и изрезы от пули и осколков. Заговаривает расстроению:

— Я вот тебе недавно сказал, что вряд ли скоро смогу приехать в Черкассы. У меня ж там тоже есть свои могилы. Дед и бабка по маминой линии лежат. Хотел бы навестить, но получится ли теперь... При новых-то порядках на Украине... Возраст у меня пока ещё самый боевой, украинец

с российским гражданством, в прошлом — офицер. Миллион причин меня не пустить: потенциальный же враг теперешнего режима. Может, даже агент, подрывник! Развернут на любом погранпосте.

Раненый сжимает-разжимает кулаки.

— А чего было уезжать в эту коростную Россию! Чего не вернулся в Украину после независимости? Почему в Раше остался? — пытает он приятеля, мерцая глазом с отражениями лампы.

— Так разве кто-то мог всерьёз предполагать, что это будут реально две разные страны? — Ольховой, подумав, сосредоточенно отрывается от длинной ленты с шприцами ещё одну упаковку. — Все были уверены, что всё будет по-старому, как повелось. А так называемая независимость друг от друга — форма, дань времени. Кто тогда делил? Ни границ, ни различий. И там, и там — один и тот же разор... Тем более, что в России не заставляли армейских заново присягу принимать. Признавали данную Союзу. Так что передо мной просто не стоял выбор: или-или...

— Да? Поэтому и мать свою перетаскил в Россию? — Борятаев немножко ожила.

— Я её не перетаскивал. Она сама решила. Всё тогда же, ещё при Союзе. Папанька ушёл, я заканчивал школу, собирался в академию, то есть по-любому уже уезжал из дома навсегда. Что в Черкассах одной делать? Родня или поумирала, или съехала из города. У неё и остался-то, кроме меня, только один свой человек на всём белом свете — сестра. Моя тётя Катерина, в Анапе, любимая и мягкая. Вот мама и затеяла перебираться куда-то к ней и ей многочисленному семейству... Два года выменивала квартиру в самом центре — ты ж помнишь, бывал у нас сколько, Садовый переулок, дерево-люционный дом, четырёхметровые потолки! — через несколько вариантов, маклеров, через грузинский Кутаиси... В результате выменяла на дюймовочий кооператив в Анапе. Пристроилась работать в анапский музей; она ж не только учительница, её первый диплом был по искусству-ведению.

Евгений хочет ответить, но слабость валит его навзничь. Даже бежевые смазанные овалы в глазах залетали, каждый в сияющем ободке.

\* \* \*

Нытьё, утихомиравшееся было в левой ноге, напоминает о себе издевательскими подленькими укусами, колет, надавливает.

— Кокос, так ты будешь ковыряться во мне? Я ж железо в себе чувствую каждой клеткой... Ну, делай хоть что-то.

Хирург подтирает салфеткой мокрый лоб раненой горы.

— Сделаю хоть что-то. Обязательно сделаю. Достану из тебя сейчас то, что мне видно... В виде бонуса ещё поколю тебя на предмет дезинфекции и избежания абсцесса. Но чтобы найти самые мелкие вошки (в руке, в боку, под коленом) и чтобы оценить масштаб бедствия в костях нужен рентген. Позже, сегодня же, Жетон, повезу тебя в город, в больницу... Если нас тут всех не положит ваша артиллерия.

Жетон умоляюще:

— Только, Кокос, сделай всё сам. Я одному тебе здесь верю. Не давай меня резать никому.

Друг Кокос успокоительно показывает распрымлённую кверху ладонь, клянётся:

— Не бойсь, не отдам. К тому же, не уверен, что в больнице есть хотя бы один свободный хирург. Вы, спасители Украины, тут столько людей покалечили, что больница просто захлебывается. И ладно бы лишь солдат курочки! А в чём перед вашей Великой Европейской Мечтой виноваты дети? Скольких уже убили или без ног, без рук оставили? Зачем вы донецкое старчё гробите... А ты знаешь, сколько из-за ваших обстрелов уже выкидыши у баб, которые были в положении? Сколько рождается недоношенными, с патологиями!

Он говорит, рассчитывая время на грядущую операцию, задумчиво, готовя под укол нужные ампулы, но Борятаев вздрагивает. Шлёт в бой оставшиеся силы:

— А чего ты хотел, Кокосик? Чтобы мы сочувственно смотрели на то, как дербанят нашу страну, как отрывают одну область за другой?.. — Он выкатывает открытый глаз, бледный, будто облачное небо; по жирной шее даже просматривается трепыхание наружной яремной вены. — Ты пойми, украинец: сейчас наша с тобой страна впервые пытается по-настоящему строить своё, совсем самостоятельное государство, которого... толком и не было никогда... Мало кто у нас уверен, что получится, но... Шанс! Другого уже не будет. Мы не имеем права прочавкать этот шанс. Поэтому мы и бьём, и будем бить по любому, кто против. А получится или не получится... Бог ведает.

Ольховой ковыряет, не без провоцирования:

— Откуда такие сомнения и неуверенность, патриот? Что значит “может не получиться”?

Секунды паузы. Вздох раненого, кажется, собрал в себя всю полуторатысячелетнюю исследованную историю обитания людей на Подольской и Приднепровской возвышенностиах.

— Да слишком много против. И внутри нас, и вне... Я вот никак не могу допереть: разговариваю со своими друзьями, многих знаю с молодых усов, а не понимаю их... Да, на словах, все — за единую и неделимую. Да, все считают, что тут, на Донбассе, мы воюем не только с бандюгами-сепаратистами, которые хотят отделиться и заварить своё независимое, мафиозное, воровское вполгосударство, чтобы сесть на уголь, руду, химичить с денежными потоками, контрабандить помаленьку... И вот, все всё, казалось бы, понимают, даже гривни свои жалкие отдают на борьбу с сепаратистами. Но самим сюда приехать, да самим повоевать — так хрен... Не едут! От призыва коят. У меня ни один знакомый в антитеррор не подписался. Только я. Как юнак небитый, на одном лишь убеждении, — он вспыхивает в полныйнакал. — Вот что не даёт уверенности! Народ слишком клёклый, — посыпает в воздух какой-то не совсем обнадёживающий жест. — И ещё: нет врага сильнее и хитрее, чем Раша. Она сделает всё, чтобы у нас не получилось. Подкупит наших верхних, задурит голову большинству своим Русским Миром... Ты же не будешь спорить, в натуре, что здесь резвятся не только якобы добровольные, но и вполне штатные части кацапов...

Ольхового больше тревожат желтеющие пятна на ноге пациента, поэтому — лишь сдерживаемый вздох:

— Не знаю, не встречал тут штатных. А ты? Я имею в виду не постановки с призывниками Украины, переодетыми в русскую форму, чтобы латвийские и пиндосовые телеканалы фиксировали “кремлёвское вторжение” в нэньюку... Ты видел тут настоящие боевые части России? Вовал с ними?

Снова молчание. Борятаев собирается, подметает в ладонь рассыпавшиеся мысли, слова.

— Пока нет, но уверен, что они тут есть. Не может же донбасская быдлота воевать в одиночку против нашей армии! У нас же, минимум, двадцатикратный перевес, и по людям, и по технике. Так что только идиот или ребёнок не чувствует против себя твёрдую внешнюю руку. — И трибунно, перебирая нервыми пальцами край ложа своего неудобного: — А что этот быдлостан может дать Украине? Пьянь, мат? Фени? Ведь почти вся Раша по-бллатному бóтает. Даже девки молодые. Откуда это: “беспредел”, “гнилой базар”? Охранники там — сплошняком “вертухай”... Не страна, а одна большая зона!

Друг детских приключений смотрит на него с сожалением, изогнув одну из бровей:

— А на Украине — не то же ли самое? Нечего из неё Парадиз лепить! Та же феня. Мне-то можешь не втират! Я ж не из африканских саванн и не с Венеры... — Ответный вздох. — Что делать! Такая была судьба общей страны.

Решает начинать, созрев для оперативного этапа. Шприц выталкивает последний воздух через иглу вверх, и проспиртованная мякоть ухватывается опытными пальцами:

— Я сейчас, Жетон, ввожу тебе уже блокаду посильнее. И буду резать, пан Пузан... Не взыщи, что без перчаток; они у меня закончились... — Он пытается размягчить Борятыева, принизить факт вторжения в его чресла, отвлечь, поэтому заставляет его мыслью снова улететь туда, за линию огневого соприкосновения, за фронт. — Вот что я всё никак не могу понять, так это болезненное сходство в ваших сегодняшних привязанностях и неприятиях. Ты ж не первый с той стороны, кого тут наши повязали. Обрати внимание, сегодня вы, большинство на Украине, говорите не о своей стране, а почему-то только о России. Навязчивая идея! У меня как человека с некоторым мебодразованием даже предположение вызрело: а не распыляют ли вам всем через вентиляционные решётки в домах какой-то забористый кокаин...

Борятыев готов к шприцу, но не может оставить последним не своё слово. Говорит, не пересекая чувства, скорее — из обязательности:

— Это вам, в Рашке осознание в бетон закатывает телевизор.

Хирург же, растянуто, ступенчато, всё глубже, слой за слоем вводит инфильтрационную дозу новокaina. Игла входит в подкожный жир и мясо легко, как и не игла вовсе, а всего лишь одинокий тонкий луч света, издалека.

— Понятия не имею, Жетон, про телевизор. Не смотрю. С тех пор, как телевидением стала реклама. У нас дома даже аппарата как такого никогда не было, сын даже мульты и "В мире животных" по компьютеру смотрел... Так что всё, что нужно, ловим только в интернете. А он без цензуры, — и, оставив в тканях нужные миллиграммы, вытягивает, под свежий спиртовой тампон свой световой луч из настрадавшейся ноги. — Ведь видно, Жетон, что приучаете себя не любить, а ненавидеть. Для вас ненависть к территории — отсюда и до Командорских тюлених лежбищ — важнее любви к Украине. Можно даже и не любить эту Украину. Ну, воровать, скажем, гривны у страны, а потом сливать из неё в Швейцарию. Главное: ненавидеть Россию! Тогда ты — свидомый украинец... То есть патриотизм — только через ненависть. Это, по-твоему, не кататоническая шизофрения?

Словно по операционному хронометру, точно к началу процедуры, возвращается Оксана с двумя рудокопными лампами и набором разнообразных свечей — и простых церковных, и фигурных, для салонов.

\* \* \*

Ольховой, видя замученную мимику медсестры после операции, отпускает её поспать, хотя бы пару часов.

— Я сам закончу. И продезинфицирую, и наложу повязки. Тут площадь обработки и перевязывания, как видишь, не мала, так что я, не торопясь...

Она, облегчённо вздохнув, идёт в свой угол, занавешенный куском брезента. Завозилась там, наскоро ополоснула в тазу руки и потное лицо, шею. Сбрасывает халат и рушится на вззвизгнувшую раскладушку поверх скомканного пледа. Засыпает сразу же, разметавшись.

У прооперированного расцепляется сознание, ускользает и вновь возвращается. Голова кружится так, точно он, то ли напившийся допьяна, то ли в непомерном жаре нутра летит вверх-вниз на горках в парке развлечений.

Хирург обтирает лоб и виски сначала ему, потом себе. Устали все.

— Везёт тебе, Жетон, что ваши сегодня нас не тыркали ночью. Как будто специально дали возможность мне тебя пользоваться. — Он не совсем доволен проделанным, полностью исключить заражение крови пока не удалось. — Ну вот, вынул я из тебя всё, что различил. Остальное — только после того, как увижу снимки.

Из Борятыева выползает напряжённость, которая его держала всё предшествовавшее время. Выползает, как если бы её, разветвлённую, потянули сильно из него за самый толстый край, корень и выбросили где-то за колышками натяжения госпитальной палатки.

Расплывается пленник безвольно по медицинскому лежаку.

— Спасибо, дружбан. Как-то спокойней стало... Никогда в жизни так тело не резало, не давило...

...Оба говорят, и разговору конца не будет. О чём? О Черкасах, о днепровских разливах, о последних годах, о детях своих.

Уже давно рассвело. По палатке, от основания до верха, взбирается утренняя краснота солнца, заполняя этот маленький госпитальный объём адской нереальностью. Только чертей с рогами недостаёт и костища для грешников.

Всё пропитывается нездоровой и пугающей краской. Лишь одной.

А тут ещё нарастает гвалт за плоскостями палатки. Он накатывается, как приближающийся шум воды, как океанский прилив.

— Пойду, посмотрю, чего там разорались. — Николай дежурно берёт из-под операционного стола автомат. — А ты, Жень, давай, спи. Тебе теперь торопиться уже некуда. Не высыпался, видать, всё это время?.. Здесь ты — в моём ведении. Так что никто тебя не тронет.

Втискивает Борятыеву под голову куртку, опускает край палаточного брезента, чтобы не задувало рассветным слабым ветром.

— Спи, толстун.

## У донецкого аэропорта. 18 сентября 2014

Опираясь на не подогнанные под рост кости, самые простые, деревянные, привезённые с полупустого донецкого склада медтехники, Борятьев пробует впервые пройтись по двору. Загипсованную левую ногу потешно-немело выставляет вперед, приложиваясь к странному шагу.

— Ну вот, ещё немного, и будешь годен к строевой, Жетон.

Врач, вроде, доволен результатом. Всё могло быть хуже. А так — пациент возвращается к ограниченно-самостоятельной жизни. Заплывший второй глаз давно раскрылся, след от удара прикладом в щёку при захвате уже не заметен.

После поездки в горбольницу в конце августа, рентгена и там же, на месте, операции при ассистировании ещё одного хирурга, больничного, удалось вытащить все оставшиеся чуждые предметы из левой стороны пленника, вплоть до металлических зёрен, что подтвердил повторный рентген. Первый же — поймал ещё и трещину в большой берцовой кости. Но смещение в районе скола было малозаметно, что облегчало оперативные труды.

Кость сцепили, мясо зашили, зашпинировали, залили отвердителем на самый жёсткий бандаж до пальцев ноги, перед этим обтыкав разрезанные места всем дезинфицирующим, что только нашлось в больнице.

По возвращении Борятьева в хирургической палатке допросили уже все, кто только хотел. Дважды приезжали и из Донецка, и из спецотдела фронта, что под началом Никитина. Всё намеревались забирать с собой, но Ольховой каждый раз неопровержимо объяснял, почему раненому пока нужно оставаться у него.

— Он вам целый нужен или сгодится по частям? — спрашивал со строгим лицом. — А если целый, то не мешайте мне его поднимать. Когда гипс соскребём, тогда и можно будет думать: как и куда везти. Ему же сейчас сломать себе простреленную ногу не стоит ни копейки; любой неправильный шаг — и амба...

Борятьев слышал эти приглушенные диалоги и каждый раз быстро сжимал ему руку, как только их другие не видели.

— Спасибо, дружбан, — прошептал он Ольховому после первой отговорки. — Честно признаюсь, не уверен, как бы я сам поступил, если б мы с тобой поменялись местами, и в других обстоятельствах. Мы ж вроде теперь враги.

— Да какой ты враг! — позывывал тот. — Дятел ты. Дятел с отбитым мозгом.

— Ну, это тема для долгого спора, кто из нас отбитый. Я просто поверьте отказываюсь, что мне тебя, чистопородного хохла, в натуре нужно убеждать в нашей, украинской правоте! Это ж кому рассказать!.. — Потом, задумчиво: — Хорошо, что эта война хоть не между нациями, а всего лишь между государствами. Государства раньше или позже как-то примирятся, Кокос. Вынуждены будут. Мы же в материализме живём. Нужно есть, пить, торговать, зарабатывать деньги... А вот национальности вряд ли примирись бы. Как греки или армяне с турчинами, скажем, или кореяне — с японцами.

На следующий день пробовал развить мысль, поскольку сам хотел понять, что же — дышло всем нам в рот! — происходит, наконец:

— Эта война за госграницы, за представление о жизни. И по ваш бок, и по наш есть хохлы, кацапы, израильцы, кавказцы, латыши, чехи, итальянки. То есть украинец против украинца, то же про русских. — Он выглагивал пригоршней неравномерно застасывающий затылок. — Был в моей сотне один корректировщик огня, Нугзár Асатиани, красава югоосетинских бойёв, кацапский танк тогда зажёг. А до приезда сюда подрабатывал пляжным спасателем при отеле в Батуме... Так вот он как-то уж очень горько на обеде сказал мне, что за вас, бандюков, тут, рядом, воюет его любимый дядька (имя не помню), растил маленького Нугзарику, младший брат матери. Мой корректировщик его боготворит, очень хотел бы с ним встретиться. Только не в атаке...

После подписания 5-го сентября ни к чему никого не обязывающего договора, о сворачивании огня между Украиной и Новороссией, обстрелов стало чуть меньше. Их не то чтобы действительно сворачивали — тербатальоны плевать и размазать хотели по поводу любых договоров, — но ежедневные артобработки сократились во времени, били не больше получаса. Диверсионные экскурсии с чужой стороны потеряли свою летнюю самоуверенность. И, по общему наблюдению, военная работа шла на убыль.

Результат такой полувойны выражался арифметически: Ольховому иногда за целый день не присыпали ни одного на капитальный ремонт. И на текущий тоже. Батальон Довгало перестал терять людей; со дня договора — как отрезало. Это и обнадеживало, и наводило хирурга на мысль: а не пора ли постепенно собираться домой...

С переговорщиками из правительственныех когорт не получилось уговориться об обмене Борятыева на кого-то из схваченных ополченцев: переговорщики не могли предложить никого, равного Евгению по армейской табели о рангах. На предложение возвратить Юрия Конопенко, в начале войны отлавливавшего лазутчиков по берегам Северского Донца и подобранным раненым, в бессознательном состоянии одним из наступавших тогда тербатальонов, отвечали без извортов: не выйдет, некого возвращать, он был изъят ещё тогда же допрашивателями из СБУ. Даже за весомые доллары не выйдет, то есть переговорщики продали бы, и с дорогой душой, как это с июлью пошло, да руки у них коротковаты против Службы Безопаски...

К середине сентября похолодало. Отглаженный комфронт Никитин поставил батальону задачу: вместе с полком из Амвросиевки поддерживать с юга атаку на обрушенный донецкий аэропорт, в котором зарылись в железобетонную падаль, в собственные экскременты, в землю и в мёртвую оборону нацгвардейцы и тербатовцы, заколоченные почти со всех сторон силами Отпора, но вооружённые вдосталь. Неизвестно на каких смесях державшиеся, они отстреливались из всего подряд по логике приговорённых, не уступая полностью лётного поля и некоторых терминалов, уже на три четверти не существующих.

Переброска харцызцев на новый, могильный рубеж шла постепенно и долго.

Ольховой с Оксаной перетащили всё небольшое госпитальное имущество в оставленный жильцами, некогда вполне благоустроенный домик из червонного кирпича в близкой к аэропорту деревне.

Раненых никто не вёз. Заниматься было нечём. Оксана топила печь и, по большей части, расходовала время готовкой — на себя, хирурга, пленного и на любого, кто зайдёт. Особенно хорошо у неё выходили деруны с кон-

сервированным паприкашем и говядиной, которую — свежее филе! — благосклонно ей отпускал заинтересованный любезник, батальонный интендант Рахат-Лукум, не по-интендантски костлявый и щедрый, из здешних мест.

Ещё она пришивала пуговицы всем, кто просил, варила с персолью и хозяйственным мылом в двух эмалированных баках бельё — своё нательное, постельное, ну, и двоим мужчинам, что требуется. Николай же ходил по бойцам, следя за выздоровлением подбитых ещё летом, и откликался на жалобы деревенских; к нему взывали с обычными невоенными недомоганиями — у кого грипп, у кого ломает суставы на сырость, у кого начинающийся педикулёз.

С Ильсиёй говорил по телефону редко. С сыном-сачком — только однажды за всю свою эпопею. В Уфе было по-прежнему, и он начинал взаправду тосковать по дому.

\* \* \*

Борятьев, выдохнувшись после тренировки с костылями по двору, накапливает силу, сидит на низкой табуретине, вжимается спиной в тёплую стену позади печи. Разрабатывает левую руку, как повелел врач-враг, сводя и разводя пальцы бесчтёно, прописывая локтем нули в воздухе.

— Кокос, тут есть поблизости церковь? — смотря в пол, спрашивает. — Хотелось бы сходить. Как начал воевать, лишь раз добрался. В Володарском. Перед боем... Хотел бы сейчас за Тосю помолиться, за маму с папой. За всех нас. За тебя, паразита, поблагодарить Бога, что свёл...

Николай, под временную тишину, как всегда, набирает в мобильнике текст, неискренний своей бодростью, чтобы позже послать Ильсие.

— Есть церковь, хотя и неблизко. В селе рядом, километров шесть. Я в воскресенье был. Там умный иерей. Святослав. Открытый, вникающий. Тоже из военных. Служил в юстиции. Сам просил перевести его в приход сюда, на войну, когда предыдущего, отца Лавра, в июле убило кассетной бомбой... Только одно “но”, — из-под козырька кепи подглядывает за выдоравливающим, взвешивая довод: — Не знаю, подойдёт ли эта церковь тебе.

Исполин отвечает недоумённо:

— И как тебя понимать? Что, церковь не православная? Синтоистский храм, в натуре?..

— Церковь — самая православная. Только не филаретовская. — Ольховой закрепляет в памяти телефона уже набранную часть вымыслов для се-мы. — Московской ветви церковь. Вот так...

Борятьев опускает голову, изучая пристально свои гипсовые латы, выговаривает еле, не двигая, похоже, губами:

— Ну, тогда, значит, подойдёт. Я православных церквей другой ветви в Украине не знаю.

Хирург откладывает телефон.

— Н-да, не ожидал от тебя такое услышать. Ты ж зад себе рвёшь за нэ-залэжну и самостийну Украину. А так называемую независимую украинскую православную церковь не признаёшь? Как же быть с денисенками и автокефалами? А?

Ещё больше пригибается к своей ноге пленник, не в силах смотреть на оппонента.

— Нет таких православных церквей. — Видно, что признания — через излом, через болевое насилие. — Кукольный театр! Самоделки! Кружки “Умелые руки” при домкоме... — Он говорит всё тише, всё дальше от хирурга отводя глаза. — А когда речь идёт о Боге, о спасении души, то о политики не думаешь. Для меня есть только одна православная церковь в Украине. Ну, и что теперь делать, раз она формально Московская? Ну, бывает. Такая была история! Ничего не попишешь. Турки тоже с аравийцами воевали, при этом поклоняясь святыням тех... Своих не придумывали... Вера — выше войны.

Первое удивление Ольхового минуло, сдав позиции негромкому насмешничеству: такой повод потроллить толстуна Жетона!

— Но как же! Денисенко же себя называет патриархом Филаретом! Патриарший клубок на голове носит! В Верховной Раде выступает!

Сидящий Жетон медленно заводится, впервые за разговор зыркнув на Николая:

— Тебе сколько повторять, приставале!.. Да пусть он себя называет, как хочет, и что хочет на голове носит! Хоть свои панталоны... Нет такой церкви для меня! И ни для одной из православных церквей его нет, ни для греков, ни для остальных балканцев, ни для грузин, ни для Константинополя... По поводу же Рады... Так что б ты знал: те, кто ему аплодирует, тайком всётаки крестят своих детей и молятся во здравие близких там, где и положено. Не у денисенок. — И итожит: — С верой не играют, Кокос!.. Договорились? Что по-пустому базлать!.. Свози лучше меня к своему умному иерею.

Николай вталкивает телефон себе в карман у колена.

— Свожу. — Он всё ещё сдержанно-смешлив. — Так что ж это выходит, Жетон? Мы с тобой, получается, в одной церкви? А вот, вишь, сейчас мы крест-накрест, один наперекор другому.

Затянутое молчание приятеля можно истолковывать, как угодно. Тот, снова скрывая глаза, выстраивает продолжительную фразу:

— Да, в одной церкви. Да, крест-накрест, Кокос. Ну и что? Я ж тебе уже сказал: и такое бывало. Вон, князь Суворов-Рымникский не только иноверцев по всей Европе гасил, но и своих же, которые с ним в одной церкви — тысячами! Бешал на воротах, забивал насмерть хлыстами-канчуками, когда водил войска на Каму и под Оренбург давить бунты. Что нового-то?.. Да, мы в одной церкви с тобой. Но Украина нас развела. Ты её хочешь опять загнать в рабство Москве, а я — вырвать.

Приходит черёд Ольховому напрягаться каждым мускулом. Он говорит нервно, срывааясь голосом в пропасти злобы и с силой оттуда выкарабкиваясь:

— И что ты гонишь, Женя? Ты на радио “Свобода” глашатаем поднялся?.. Какое рабство, когда Москвой столько пáрубков с Украины помыкало! Раз уж князьёв-граффёв вспомнил, то тебе Разумовского мало? Он же не только Петербургу и Москве указывал, но и самой царицке Лизавете... А уже при “совке” сколько! Дорогого и любимого Леонида Ильича забыл? А Семичастного? А Цвигуна? А Подгорного? Ведь всё наше детство — под ними.

Встаёт, часто вдыхая, чтобы успокоить себя до привычной врачебной бесстрастности.

— Говоришь, что Украина нас с тобой развела? Пожалуй, — смотрит на Боряťева остро, как будто снова разрезает его лезвием, только теперь уже всего, начиная с темечка и до простаты. — Мы родину по-разному понимаем, Жетон. Ты — только вопреки одной большой Руси, только от какого-нибудь закарпатского Ужгорода и лишь до Азова... А моя страна — не только от Ужгорода или Измаила. Она и от балтийской Курской косы, и от Гродно на Немане, и аж до Берингова пролива. Что-то меньшее меня не устроит. — Останавливается у поддувающего окна. — Вот из-за этого я сейчас тут, Женя, а не с сыном и не со своей любимой.

Боряťев исподлобья вбивает прищуривание киллера в область носа Николая. Глаза сузились до монгольских.

— Твоё счастье, Кокос, что я пока калека и не могу тебе в зубы дать. — Вытирает вспотевшие ладони о пряжу шарфа, доставшегося от предыдущих хозяев дома. — Ты чё, пропагандозом заболел? Какой Руси тебе хочется? Чё тебя устроит? Чтоб снова всех нас за ниточки, как кукол, дергала Москва? Повсеместно — от моего Закарпатья до твоего Тихого океана?

Ольховой, на правах лечащего врача, спокойно, совсем не боевито, подходит вплотную к больному, ногой придвигает себе стул.

— Нет, милый, снова не угадал. Не Москва. Забудь. Никто уже давно не думает повторять тупое командование из неё, как при “совке”. Доказано на практике за десятилетия, что такое — не пляшет. — Он кладёт ногу на ногу, наклоняясь ближе к Боряťеву — может так, ближе, слова как-то

точнее дойдут. — Москва навсегда останется столицей России, и лишь Россия как одной из частей Великой Руси. А общий управляющий город всей Руси придётся строить. Пусть и не с нуля, но строить. Я даже знаю, где.

Замечает — зацепило. Во всём лице громадины словно разлито подстёгивающее выражение: “ну, ну, не тяни жилы, давай уже...“

— Другого места просто быть не может. Такое — только одно. — Николай ищет подмогу у своих рук — принимается жестикулировать. — Общая столица должна быть в точке, в которой сходятся границы трёх частей, трёх держав одной Руси. А значит, на границе белорусской Гомельщины с украинской черниговской землёй и российской брянской. Можно под столицу образовать отдельное земство, тоже общее... Я бывал там. Места великие! Леса, реки... Там ещё памятник стоит “Три Сестры”. Три страны.

Громила заранее несогласно вертит головой, пренебрежительно помахивая кистью.

— А-а-а-а, тюля всё это, глупня! Подумаешь! Ну, не из Москвы, так из этой, заново построенной... Но всё ж равно кацапы будут править! Они же никому другому не дадут!

Но Ольхового перебить раненому не удается.

— А если управлять общей Русью попеременно? Один год — белорусы, другой — мы, украинцы... Ну, и так далее, по кругу.

Борятаев даже начинает давиться яростью:

— Да ты чё, Кокос! Как мы можем с москалякой? Когда мы столько с ним воюем!.. Ты забыл, дурила? Вся же история украинцев — война с Москвией.

Николай смотрит сострадательно, выдерживает небольшой перерыв. И говорит подозрительно ласково:

— Женя, не дам тебе больше есть грибы. Как врач... — Говорит, будто рецепт выписывает. Но чуть потом, в гудящей подземной дрожи рассерженного вулкана: — Какая война? Последние лет пятьсот — только вместе! И в помоях, и в победах!.. Драку у Конотопа вспомнил? Так то несколько сечевых атаманов, запорожанцев, купленных за шляхетские золотые, воевали с московитами. И не столько с московитами, если разобраться, сколько с другими малороссийскими атаманами, оставшимися верными присяге... И всё, Женя! — Он подрагивает сейсмическими толчками, неосмотрительно хватая Борятаева за колено. — Вспомнишь, наверное, Крутые? Так там ни с какой не Москвией бой был, а с большевиками. То, по сути, было смертоубийство опять же между украинцами, что не впервой. Кто тогда на стороне красных бился? В том числе украинцы же: матросия, кавалерия. От ездового тачанки до помкомандарма... А вся остальная история — только заедино! Против ляхов. Ну, и ещё против турок, румын, разнообразных германцев... Против кого была Запорожская Сечь? Против Московии? Хватит этой тифозной горячки! Да среди днепровских казаков около трети были беглые из России... А Северин Наливайко? Больше же двадцати войн и восстаний на земле Украины, ещё с одиннадцатого века!.. А опришки? А дейнеки? Мы же это всё детьми читали, в нашем дворе мы со своими игрались! И вы в своём, наверняка. В Пынтию Храброго, в Олексу Добуша...

Немного совладав с глубинными подвижками земной коры, пригасив выплески вулканических фонтанов, он встаёт, снова собираясь ходить по комнате.

— Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е, Жетон. Так не пойдёт. Сожги весь тот силос, который сейчас печатается на Украине по прошлому страны. Иначе — совсем голову загубишь. Ведь ясно, что ныне историю на Украине излагают во все не историки, и не археологи. А фантасты! Причём — бездарные.

У донецкого аэропорта. 2 октября 2014

Просыпается Ольховой от взрывов совсем рядом, нескольких, одновременных. Сразу определил: начался обстрел “градами” правительственный принадлежности, арт-самоходами и самыми тяжёлыми миномётами.

С сентября (когда опорные выступы ополчения размолотили на ингредиенты всю 95-ую моторизованную бригаду Украины) националистические тербаты как с цепи сорвались. День за днём сносят оставшиеся сёла на подходе к Донецку, даже те, в которых уже ничего и никого нет.

Николай наобум одевается, напяливая на себя всё, что свисало с гвоздей у двери: не исключено, что придётся надолго убираться отсюда, так что весь день на ветру, а ещё заморозки под утром...

Рвётся в соседнюю комнатку, торцевую, где спит Борятаев.

— Жетон, встаём! Давай, я тебе помогу одеться. Нужно сматывать в вырытое укрытие. Это через улицу и два дома. Мало ли что... Вашим, похоже, закордонные учителя пожаловали своих снарядов, так что старые нужно списать...

Великан спросонья дёргается, производит много лишних движений, не сразу попадая рукой в рукав, а ногой в штанину.

— Оксан! — Врач трубит в дверной проём. — Ты где? Убегай. Знаешь, куда бежать-то?

— Та знаю вжэ, Мицюла Богдановычу! Ось тильки анестезию посыпаю, я йийи тут не залышу, вона нам дуже дорого досталася... Та й антибиотики тэж забэрү.

— Не дури, чучка! Какие ещё антибиотики! Беги с хаты, я сказал! Не смей рисковать.

Кое-как успевает одеть Борятаева, натянув на него чужой, оставшийся от прежних владельцев китайский драный пуховик и, придерживая плечом подмышку человека-утёса, толкает его к выходу.

Тот, подтянув с испуга всю физику организма, довольно смело торопится на улицу, опирается уже окрепшей левой рукой на ортопедическую палку, слегка наступая на всё ещё гипсовую ногу.

— Оксана, быстрей, не возись! Брось всё! — Врач уже снаружи кричит в дом.

Подпирая громко дышащего и мгновенно упревшего Жетона, торопится в узкое убежище Довгалю, зацементированное и приваленное бордюрными плитами, в подвале упавшей избы, с отдалённо вырытым лазом. Там сейчас временный штабик.

Остаётся всего полста шагов. Самыми опасными кажутся шаги на неприкрытой деревенской улице, где они с Борятаевым становятся беззащитными, образцовыми мишнями для закрепившихся на деревьях дальней высоты корректировщиков и снайперов, вросших в инфракрасные видеосканиаторы.

Но вот и улица пересечена. И до развалин нужной избы уже совсем чуть.

Тогда-то и слышит Ольховой недолгое завывание летящего конуса из 152-миллиметровой самоходной "акации", а за затылком — новый взрыв. Слишком рядом.

Они с Борятаевым приученно пригибаются, прочувствовав спинами, задниками курток расстрельную дробь из кирпича, бетона, древесины.

Николай обворачивается и понапачалу ничего не видит, прежде всего — того дома, в котором они провели последние восемнадцать ночей. Его больше нет совсем. Нет ничего, и с улицы, сквозь поднятую тучу из травы, земли, мелких кусков неизвестно чего просматривается весь сад, аж до забора с участком соседей. Даже не сад, а расколотые остовы деревьев — кроны рухнули. А дом как будто в секунду провалился. Лишь по неровным зубьям обнажившегося фундамента начинает разгораться неторопливый пожар.

— Окса-а-а-ан! — разрывая воющущую горгань, вздувает канаты на шее Ольховой. — Оксана! Ты где?

Ответа нет. Никаких звуков нет. Наступила совершенно новая, нетипичная, непривычная тишина. Даже вороны заткнулись. Даже ветер мгновенно стих, так же, как и Ольховой, замерзев.

Николай отупелым взглядом смотрит на загорающийся фундамент только миг назад стоявшего дома.

— Оксана-а-а-а-а!

Борятаев, тоже с выкатившимися глазами, еле выталкивает из себя:

— Не ори, Коль. Неужели не понимаешь, что бесполезно? — И с силой пробивает наружу затык в горле: — Давай лучше двигать отсюда, а то как бы и нам с тобой тут не пришёл конец... Я наших знаю: раз стали бить из тяжёлых мортир и миномётов, то, значит, скоро сюда пойдут танки.

\* \* \*

Комбат Довгало, щёлкая шариковой ручкой, не переставая, в возбуждённом подрагивании, рыскает пальцем свободной от щёлканья руки по разложенной на полу карте.

— А ну, посвитьть мэни, хто-нэбудь, — требует у нескольких командиров рот и взводов, собравшихся в штабном подвале. — Зараз будэмо организовывать оборону ливого края сэла. Насампэрэд, трэба прыкрыты вулыци Громадську й Синну. Швыдко пэрэвэзыть туды батарэю Жáла, и ўзб момэнтально усі гарматы булы готовы до бою!

Один из названных командиров батареи Жáло — подвижный Петро Жмаченко, крупнотелый и крупноносый, — гуркнув “Понял!”, выползает из погреба на подрагивающую от орудийного беснования улицу.

Щёлкающий своей надоевшей всем шариковой ручкой Довгало переводит глаза на усевшихся в подвальный угол хирурга и оберегаемого им выздоравливающего узника. Борятьев немного отошёл в надёжно укреплённом пространстве, и к нему возвращается размеренное дыхание. В Ольховом же всё ёщё спицей торчит парализованная его застылость.

— Айболыт, я тоби зараз даю машину з водилой, и вы дуэтэ звидсы на восток, в глыбы наших зэмель, подальше вид Донецьку. Зараз тут будэ зовсим мокро, сука, — машет вверх, в улицу. — Йидьте до Харцызька, а потым — на Торез, и ще дали, на схид. Там вам скажут — куды.

Врач не хочет ничему верить, не хочет ничего слушать.

— Данилыч! Я пойду посмотрю. Может, Оксана всё-таки уцелела. Раненая там сейчас...

Довгало сжимается, запускает пальцы в бороду.

— Ты й сам розумиешь, що никого там нэ знайты. Пряма наводка. Писля “акации” ничего нэ залышається. Так що нэ тягны час, збырайся юхаты.

— Но Голова... — начинает снова Ольховой.

— Ниякых “Голов”! Ты ж вийськоўва людьина. Шо, трэба тоби пояснюваты, що таке прыказ командыра? Так ото я накаю: эвакуваты цього полоненого. — Потом, будто Ольховой языкку разучился, чтобы не было интолкований, переходит на как бы русский: — Лично отвечаешь за этого пленного. Он для нас слишком драгоценный. Срочно на восток! И как можно дальше. У Донецьки ему оставаться нельзя. Они миллионный город можна чить не перстануть. Для них взять Донецьк — шо войну вже выигратъ.

И в ответ на стеклянные глаза Николая:

— Обещаю: лично, сам всё там потом обложу, на карачках, всё осмотрю. Если знайду хоть шо-то от неё, то похороним, как подобает... А не знайду... — так ўсё равно там камень ей поставим... Обицяю! Вона ж мэні, Оксанка, всё ёдна як доњка була.

### Самый восток Донбасса. 3 октября 2014

В лобовом стекле “бобика” — уныние осенней замирающей степи разбавляют первые избы поселения. Ещё одного. Сколько таких деревень уже проехали за прошедшие сутки с молчаливым водителем!

На развилке трассы и подъезда к безвестному поселению — длинная стена из озеленелого цемента. Ольховой соотносится с картой, лазит пальцем по склеенным изолентой отдельным листам: село Рассыпное.

В картах он не силён. Вот если б надо было порыться в анатомическом атласе...

По мере продвижения на восток Борятьев постепенно смурнел. Смурнел от понимания, что ёщё больше удаляется от дома — когда он туда попадёт?

И попадёт ли?.. Смурнел в унисон с природой за окном машины. Там совсем уж всё было давно невесело. Тяжёлый, как будто одолженный рассвет, да ещё и поздний.

Ночью, в слепую темноту, остановились, чтобы поспать. Спали недолго и некомфортно на своих сидениях в машине. Лишь раненному Евгению было дозволено развалиться в двух задних сидениях, выпростав гипсовую ногу. Стучало изредка дождём. Потом морозило. И снова морося. Из рощи, где-то, вероятно, вблизи, подкрадывались лесные щёпоты. Самой рощи не было видно. Кто-то там ползал, шуршал. Глумливо хохотали совы. Скрежетали ветви. Шлёнвали по мокрым низинам их отвалившиеся мёртвые отростки, сбитые случайной струёй...

К утру перестало. Всё тот же холод.

От ветра всё быстро испарилось. Ползут вдоль трассы подсохшие листья, и ветер догоняет собравшийся к югу клин утиных эмигрантов. По обочинам торчат остатки трав из затвердевшего, как пряжка, дёрна. Небо сырое, на сморочное. Погромыхивает за полем. Настораживающее, без дождя.

— Нам теперь на север надо, — говорит чирьеватый водитель, выделенный комбатом Довгало ещё под Донецком для эвакуации важного раненого. Водитель очень молод, очень молчалив, Николаю до этой поездки знаком не был. Из хозяйственной службы, кажется. Но автомат знает хорошо: видно по тому, как свойски его пристроил слева от себя, стволом вниз. — Ещё минут двадцать, и мы там, где треба.

Но двадцати минут история им не даёт. Происходит то, что так ненавидит любой водящий машину, и чего он боится, просыпаясь, если привиделось ему это во сне: двигатель щёлкает, астматически задыхается, машина ещё с три сотни метров проезжает рывками, ещё раз, последний, пытается дёрнуться и останавливается. На этот раз надолго. Пока не получит хотя бы глоток бензина.

— О-па... Кажись, приехали. Горючка кончилася. — Водитель раздражающе спокоен. Точно с ним такое происходит ежедневно.

А вот это уже проблема. Да ещё какая! Ольховой сердит.

— Ты что, байстрюк, раньше не видел, что у тебя паливо на нуле? — Он с силой распахивает свою дверь. — Ты в который раз за рулём? Второй, поди, в жизни?

Выходит. Свой автомат оставил на сиденье.

— Тебе не то, что машину — игрушку в яслях, пустышку нельзя доверить!

Тоскливо оглядывает безлюдные просторы — спереди и сзади.

— Ну, и что теперь делать прикажешь, хлопец дорогой? Ждать, когда кто-то проезжать будет? А если не отольют нам горючки! А если до вечера тут никто не проедет!..

Евгений ворочается, не снимая ноги с сиденья рядом.

Всё, что угодно, только не иди!

Водитель непонятно усмехается и, игнорируя вопросы хирурга, медленно берёт его автомат, будто хочет рассмотреть вблизи сослепу, и так же медленно отдаёт его в руки сидящему сзади пленному.

— А шо? Может так случиться, шо и не проедет тут никто, — выговаривает долго, невыразительно, доставая свой ствол и направляя на Ольхового. — Вы только, доктор, не дёргайтесь и дурью не майтесь. Двигайтесь постепенно, без фанатизма. И не подходьте к машине. Тада вас никто не тронет.

Николай, стоя на замёрзшей за ночь, подбелённой инеем грунтовой дороге, и Евгений, получивший автомат, одинаково удивлённо смотрят на шофёра.

Не скочерыхился ли парень от этой войны?

— Ты чё это вдруг? — спрашивает у него с задних сидений Борятыев. Тем не менее, по выработанному порядку проверяя оружие, отсоединяет и снова прикладывает магазин с патронами. — Чё задумал? — Потом делает предположение: — Не из наших ли будешь? Из украинских? Ты здесь чё, на задании, в натуре?

Водитель отвечает медленно, словно ему гантель на язык подвесили:

— Не... Я в ополчении торчал. Но теперь хочу до дому вернуться. И мне нужна ваша помощь.

— Моя? — всё ещё не понимает загипсованный.

— Да. Я прикидываю, что вы — вэлыкий командир в вашей армии. Так я помогу вам пробраться к своим, а вы за меня поручитесь. Я живу в Красноармейске, он сейчас под вашими.

Большой командир похмыкивает:

— А чего ж ты в ополчение это чесоточное пошёл, дубень?

Чирьеватый завздыхал громко:

— Та-а-а... Чего уж объяснять!.. — И, видя, что Ольховой всё-таки собирается вернуться к машине, излишне грозно предупреждает: — Я ж казав вам, доктор: стойте на месте. — Поднимает автомат для прицеливания.

И продолжает, снова спокойно, лишь слегка повернув лицо к своей надежде, сидящей сзади, наискосок:

— Девоньку я одну любил. Замуж звал. А она по весне пошла в ополчение. Уж больно не жаловала она всю вашу власть. А стреляла хорошо... Ну, и я за ней. Ну, шоб не потерять... Так она подорвалась на "противопехотке", установленной вашими у колодца, под Докучаевском, в самом конце лета. Жарко было в тот день. Пить она хотела... А мне теперь уйти из ополчения уже никак... Ваши пристрелят на первом же блокпосту.

Приходится Борятыеву соглашаться:

— Да, вполне могут, — он снова проверяет автомат. — Ну, ладно, если доберёмся до наших, скажу за тебя. В грудь себя буду бить, что спас ты меня. Из кровавых лап контрразведки просто-таки вырвал! — Разулыбался, довольный. — И ещё скажу, что тебя весной насильно, шантажируя родными, затащили в вашу банду. Обещали, что положат всю твою родню, если не пойдёшь воевать против украинской армии.

— А поверят? — осторожно сомневается водитель, неусыпно одним глазом держа Ольхового. — Разве кого-то насильно в ополчение Отпора стягивали?..

Раненный пленник, уже и не пленник вроде бы, обнадёживает:

— Поверят! У нас все знают, что только так ваше ополчение и собиралось... Ну, и я всё-таки в нашей армии — не отставной козы барабанщик. Если за тебя поручусь...

Отталкивает свою дверцу, кряхтя, выволакивает обвязанную ногу, опираясь одновременно на прихваченную из-под Донецка ортопедическую палку и автомат Николая, прикладом в землю. Хитровато-добродушно зовёт:

— Идём, Кокос, вон туда, в заросли. Побазлáем немного. И опорожним-ся заодно. — А шофёру сухо, уже приказными интонациями: — Ты же тут пока посидишь. Мне с врачом поговорить надо, наедине... И не бойсь, я кот учёный, наш доктор от меня не сбежит и автомат не отберёт. Я больше в плен не ходок... Так что сиди тут, жди, я через какое-то время вернусь. Может, через немалое время. Но всё равно жди... Если будут машины, по-проси немного бензину.

Николай, в бешенстве запахиваясь на все пуговицы камуфляжного бушлата, засунув руки в карманы, идёт на Борятыева.

— Не, Кокос, двигай вперёд, передо мной, — одёргивает тот. — Так, чтобы только твоя спина была видна... И не быстро. А то я пока ставить рекорды в беге трусцой не могу, как тебе известно...

— Раскомандовался... Ну, и куда идти, сэр? — на ходу спрашивает Николай, прикрываясь от налетевшего режущего ветра.

— А вон там деревья какие-то, вроде, обрыв над рекой. Посидим там, потолкуем, ножки с обрыва свесим. Как в детстве, в Александровке. Помнишь?

Хирург беспечно шагает к деревьям, подняв ворот бушлата, отдав спину в распоряжение приятеля. Уточняет с весёлой злостью:

— О чём толковать хочешь? Не о высших ли сферах геостратегии?

Тот отвечает хирургу в тон:

— А как же! О них. О них самых. О независимости Украины. О полной независимости.

Николай говорит с нерадостным смехом:

— От кого независимости? От России или от Америки?

Перекидывание через сетку понг-понгового шарика фраз обрывается. Боряев не отвечает, долго идёт, задумавшись. Потом оборванно, уже без прежнего шутовства, негромко, с оформленшейся уверенностью говорит: "...от России".

\* \* \*

Они проходят низкие и редкие посадки, ведущие к обрыву над рекой, — слишком редкие, чтобы именоваться лесом. Но они приемлемы для уединения.

Выходят на изглоданный течением обрыв. Внизу под ними грустно ползёт безымянная река, вся в плывучем листопаде. Одна из тех речушек, которые они уже проезжали.

Евгений подходит к краю обрыва, без цели рассматривая течение.

— Ну и речка! Канализация сельская, а не речка. С нашим Днепром не сравнить. Правда, Коль?

Ольховой в отдалении пожимает одним плечом:

— Река как река... Ну, так что ты хотел мне поведать наедине, Жетон?

Тот опускается на границу земли и невысокой пропасти, нависающей над берегом, заросшей дикими и пригорюнившимися перед спячкой травами.

— Чё-то подустал я... Да садись ты, Кокос. Только — где стоишь. Ближе не надо... Садись. В ногах правды нет.

— "Но правды нет — и выше", — цитирует Ольховой.

— Старо, Коля... Но ты всё-таки сел бы. И прошу: не вздумай метаться. Я призёром по стрельбе всегда был. — Освобождённый пленник пристраивает автомат на колене, направляя в дружбана. — Дело идёт к тому, Коль, что нам с тобой расставаться пора. Так что уходи. Прошу: не дай грех на душу взять. Спасибо за всё, что ты для меня сделал за этот месяц с небольшим. Поверь, при всех моих недостатках, меня нельзя назвать неблагодарным скотом... Но раз ты, украинец, не хочешь за свою родину встать, то езжай к себе в Уфу или ещё куда, но только не трись здесь. Это моя страна, и здесь я буду жизнь налаживать.

Ольховой и не собирается слушать Жетона серьёзно. Этот-то, толстозадый, будет его наставлять! Этот, которого он учил правильно загребать руками и ногами, когда они переплывали Днепр от одного острова до другого! Этот, которому он позже рассказывал об "Инфанте" Веласкеса в столичном музее западноевропейской и восточной живописи! Может, ещё и выстрелит в учителя? А вдохновения хватит?

— Жетон, а если не уйду? Завалишь меня? — Смеётся обидно. — Ну, стреляй, стреляй!.. Что, скучился? — И замедленно, с долгими интервалами: — Нет, не уйду, Женя. Не мечтай. Я буду воевать. Именно за родину, которую у меня хочет оттяпать ваш североамериканский меценат. Я её верну. — Выдохнул сломившимся голосом: — Не могу я её оставить. Вы же крадёте! Мою тихую, мою обильную идержанную когда-то Украину, какой я её всегда знал. И я останусь здесь, чтобы её у меня окончательно не отобрали. Ни пиндосы, ни вуйки, ни вы, свидомые громадяне.

Боряев нервно цепляется за спусковой крюк автомата. Рычит полу值得一ваш:

— Дурак ты, Кокос. Вроде ведь порядочный человек... А дурак... О чём ты? Не понимаешь, дурила, что той, тихой и забитой, совковой, несвободной Украины больше никогда не будет? А будет сильная, независимая от всех, сборная Киевская Русь, у которой твоя Раша ещё за честь посчитает быть в колониях... Метрополия, центр мира! Со святой Софией и златоглавыми храмами!

Но приятель беспощаден:

— Боже ж ты мой! Жетон, откуда такой звёздный размах?.. Центр мира? С чего бы? С культуры, покорившей всю планету? Военной силы? Технологического превосходства? Вселенских денег?.. Ведь в сегодняшнем мире только гроши что-то и способны решать, да и то — не всегда. Но теперь у Украины даже этого нет.

— Теперь, может, и нет, — лязгает Евгений зубами, как замками тюремной камеры. — Но обязательно всё будет.

— Откуда будет-то? Объясни, Жетон. — Ольховой в возбуждении выывает голос. — Почему ничего из этого не появилось за все годы после Сюза? И откуда появится теперь?

— А вот появится. Поскольку теперь есть свобода. — Жетон непреклонен, уже заходит ором: — Мы теперь всё можем!

Николай прижимает обе ладони к горячей голове.

— Боже, вразуми вас всех! Да чем же вас опыляют? Тут поневоле поверишь в инфо-утечки, что последние лет сорок военный флот Штатов разрабатывает излучатели массового гипноза. И это тебе не телевизор. Эти волны пострашнее. Неужто до Украины дошёл черёд?.. Нет, не хочу верить... Чтоб вас, свидомитов, проказа скрутила! Надо ж было так страну уездить!

Борятаев, перегорев, вскидывает поджарое волчье тело автомата. Палец пружинит на спуске. Снова взрыв неукротимого приступа.

— Ну, так подыхай! И я тоже готов сдохнуть! А Украина будет великой! Будет, несмотря на всех врагов — и снаружи, и изнутри!

Разовый выстрел протыкает холодный и многотонный, как вечная мерзлота, воздух, сбрасывает с качнувшихся веток подорвавшуюся стаю, и чёрная рваная туча в вороньем иерихоне спешит в небо, подальше от этого места, где ещё не наигрались в стрелялки.

С северо-востока тянет острым приполярным ветром, низкие облака несутся оттуда, но всё никак не кончаются.

Евгений невидящее и неверящее смотрит сквозь закачавшуюся фигуру друга, которая валится набок, приминая осенний тёмный, траурный осот-подорожник.

\* \* \*

На гремящую смесь звуков прибегает дезертир-водитель с автоматом.

Борятаев отворачивается: не хочет убеждаться в том, что кто-то мёртв. Или ещё жив. Или не совсем... Не хочет снова смотреть туда, куда направлял шальной глаз дула — в ломающиеся к зиме, чёрственные стебли.

Что совершилось, то совершилось. Если кто-то умер, так умер. Выжил — значит, так лёг расклад!

Водитель молча стоит, не смея ничего спросить. Так и стоял бы, если бы не закоченелый, надорванный, спрашивающий голос отходящего от ранения великана:

— А что это за река тут внизу? Не знаешь?

Юный дезертир опускает автомат — держал наготове.

— Река называется Миус, — водитель лениво озирается во все направления. — Там за ней, на том берегу — уже Луганщина считается.

Запустение пейзажа гнетёт. К нему нужно привыкать: к неизменяемости, к нависшим, как судьба, облакам, к дикому вороньюму “кра-а-а-а-а-а-а”, к шевелящейся и шуршащей на ветру траве. Время года — самое покойницкое...

— Луганская область? Ещё один нарыва... Ну, ничего, и это вылечим, — Борятаев встаёт, подтягивая ногу, опираясь на палку и автомат, распрямляется. — Ну что, были автомобили? Удалось бензином разжиться?

Парень поводит-покачивает головой в обе стороны — как стрелкой метронома.

— Та не... Ни одна сука не проехала за это время.

Многоногий пешеход неслаженно перебирает всеми опорами, намереваясь пройти вдоль речного русла влево.

— Значит, нужно идти пешком, к нашим. Значит, будем двигаться. Потом какую-нибудь частную машину стопанём. Хорошо бы, чтоб с одним только шоферюгой, без пассажиров. Сунем шефу ствол в нос, завяжем руки, кинем на пол сзади, и побыстрей отсюда мотать туда, на запад. Хоть бы к венчу успеть...

Оба сползают медленно с холма, всё так же вдоль шелудивого берега.

Задувает ветром. Стали капать первые предвестники большого дождя.

Гнев грома уже рядом.

\* \* \*

Ближе к дороге, из всей ещё густолистой осиновой заросли на них выходят четверо. Все в камуфляже. С автоматами вперёд. На рукавах нашивки — «Новороссия».

— Это не вы тут шалили, стреляльщики? Всех деток и курят нам по-распугали, — спрашивают, с пристрастием глядя в глаза. — Куды путь держим, граждане прохожие? Хто такие?

Шоффёр сереет чирьеватыми щеками. Борятьев хочет вскинуть свой автомат, но успевает просчитать: не удастся, они выстрелят первыми...

— Из харцызского отдельного батальона Семёна Даниловича Довгalo. — Юнец, только что живший видами на близкий дембель, опрометью возвращается к сольной партии завзятого ополченца. — Вот, конвоирую пленного, как и приказано, в Четвёртый резервный полк Отпора. Он ранен. Можете перепроверить, свяжитесь з нашим комбатом.

— Пленного? — вперёд выходит один из четырёх, приземистый и жизнерадостный. Улыбается счастливо, как в детском саду. — А шо у тебя пленный при оружии разгуливает? Та ещё зраненный... Не-е, шо-то не то тут, хлопцы... А ну, пленный, брось-ка свой калибр, а то я человек невравновешенный. Ещё как пальну... И ты, конвойир, свою дудку тож брось. Мы подымем. И вперёд просим. Слюды, по тропке. Потопали, панёве. У нас и машина имеется. Разберёмся. Мы и есть Четвёртый резервный в Отпоре.

Мало кому заметным поворотом Борятьев оглядывается, смотрит назад, на взгорок, прежде чем начать спотыкаться по начертанному ему пути. Коля Ольховой, лежащий на обрыве лицом к воде, хотя ещё и заметен, но уже едва. Краешек плеча над травой, бугор локтя. Далеко, мелко.

— Да иду я, иду, — недовольно отсылает за спину, в которую стучится поторапливающий ствол. — Вы ж видите, что я сегодня не спринтер и даже не стайер.